

Лев Рубинштейн Знаки внимания

CoRpus

Рубинштейна читать хочется — для получения физиологического удовольствия. Когда никого рядом, а ты смеешься, даже хохочешь в голос, и выбегаешь, чтобы пересказать.

Петр Вайль

Лев Рубинштейн

Знаки внимания



издательство **астрель**

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6
Р82

Художественное оформление и макет АНДРЕЯ БОНДАРЕНКО

Издание осуществлено при техническом содействии издательства АСТ

Рубинштейн, Л.
Р82 Знаки внимания / Лев РУБИНШТЕЙН. – М. : Астрель : CORPUS, 2012. —
288 с.

ISBN 978-5-271-43464-8 (ООО "Издательство Астрель")

Поэт, публицист, критик и один из основоположников московского концептуализма Лев Рубинштейн много лет пишет колонки для разных изданий. Честному человеку порой очень сложно смолчать. Просто не каждый способен облекать мысли в слова. Рубинштейн умеет это делать как никто другой. Его колонки всегда точны и остроумны, не зря они моментально расходятся цитатами в социальных сетях. Новая книга Льва Рубинштейна - собрание колонок, написанных им за последние годы для "Граней", "Большого города", Esquire и др.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-271-43464-8 (ООО "Издательство Астрель")

- © Лев Рубинштейн, 2012
 - © А. Бондаренко, художественное оформление, 2012
 - © ООО "Издательство Астрель", 2012
- Издательство CORPUS ®



Оглавление

В конце концов

В конце концов	11
Вот и нету великана	16
Горячая линия	22
Модернизированная магия	27
Вид из окна	32
Против естественного	37
Скверный анекдот	42
Сбыт мечты	47
А нам согопоо	52
“Ребята, вы чего делаете?”	56
Мыть или менять	61
Пусенька, зачем?	65
Империя хни	70

знаки внимания

Иду на мы	79
Когда начинается искусство	86
Тревожиться сочинять	94
Изделие номер два	99
Вовсе не ерунда	105
Моя жизнь в искусстве	113
Сезонная лирика	119
Вязкая вязь	126
Секреты и секретники	132
Соловьино-музейная ночь	137
Зла хватает	142
Мир спасет балаган	147
В детском мире	153
Знаки внимания	158
Что хотелось бы забыть, но не получается	165

косвенная речь

Праздник возвращения	173
Откуда мы все вышли	180
Шведская сценка	184
В разногласии хора	191
После бала	201
Прошу к столу	207
Мне четырнадцать лет	213

Машинка времени	219
Где же ты, моя Сулико?	226
Триумф Ква-Ква	232
Все по порядку	237
Косвенная речь	243
Папина “Победа”	249
Суверенный антифашизм	255
Мойдодыр	264
Печально я гляжу	270
Вкусовые ощущения	276
Увянувшее поле	284

**В КОНЦЕ
КОНЦОВ**

В конце концов

Конец света, говорите? Ну-ну. Даже интересно. Не знаю, кто как, но я еще ни разу не видел...

Иногда к нам приходят откровения, многозначительные метафоры и прочие свидетельства нашей самопровозглашенной гениальности, и сильный, хотя и недолговечный восторг от наших открытий чудных сопоставим по интенсивности лишь с тем горьким разочарованием, которые мы испытываем, когда узнаем, что все это придумано и открыто до нас и без нас.

Я, например, в детстве придумал такую вещь. А вдруг так случилось, что я уже умер, но этого как бы не заметил? Вот как-то так внезапно умер, вроде как бабушка, которая умерла во сне. И мне лишь кажется, что я живу так же, как и жил всегда, — вот мои родители, вот мой брат, вот мои приятели, вот я иду в школу, вот я с помощью проволочной клюки гоняю по улице ржавый обруч от бочки, вот качусь я в санках по горе крутой. А на самом-то деле меня нет, а где-то там, в уже не доступном для меня мире, плачут-убиваются мои родные. А Сашка Смирнов, давясь слезами, говорит: “Да, зря я все-таки отказался менять мою канадскую марку с Ниагарским водопадом на его тайландскую со слоном. Может быть, если бы я согласился, он бы не умер и мы вместе поехали бы в воскресенье на Главпочтамт, где какие-то хмыри обещали нам недорого (всего за семьдесят копеек новыми) продать две серии по четыре марки каждая — бельгийскую с ихними королями и Новую Зеландию с местными птицами. Эх!”

Уже будучи взрослым, я узнал, что подобные озарения навещали очень многих из моих сверстников.

Такая же точно ерунда случилась с моей более поздней, а потому и более масштабной гипотезой относительно того, что пресловутый конец света, о котором так долго говорили религиозные работники всех времен и народов, уже давно наступил, да только мы все его не заметили. И живем себе как ни в чем не бывало уже, так сказать, после всего. Но и это оказалось вполне расхожей штукой. А уже совсем потом появился термин “постмодерн”, который примерно про это самое и есть. А уж про “конец истории” и говорить нечего.

Теперь вот опять что-то про конец света. Все, конечно же, как умеют шутят на эту тему. И подчас не без нервной натужности. Ну, типа, а хрен его знает? А потому вдруг посреди потока макабрического остроумия то один, то другой невпопад вспоминает, что надо бы наконец-то забрать из химчистки дубленку, что хорошо бы не забыть завтра заплатить за телефон и что сын-балбес все никак не может исправить двойку по русскому. Хотя какая там дубленка, какой телефон, какая двойка?

Но всякого остроумия много. Когда-то мой друг и замечательный поэт Виктор Коваль сочинил такую

памятку-плакат: “Отправляясь на тот свет, не забудьте выключить этот”. Это как раз про то самое, про “заплатить за телефон”.

Другой остроумный человек заметил, что Россия — страна, как известно, самая самобытная в мире — грядущий конец света встретит дважды: один раз вместе со всем миром, а чуть погодя, через тринадцать дней, мы будем иметь счастливую возможность отметить еще и Старый Конец света. Это, согласитесь, внушает некоторый оптимизм.

Конец света для людей религиозных категорий вполне понятная. Это инвентаризация всего наличного состава людских душ и последующая их сортировка по тем или иным отсекам Вечности. Для человека секулярного это хороший повод подстегнуть собственное воображение. Конец света? Какого? Этого? А другой будет? А какой он будет? Лучше? Хуже?

“Скучно на этом свете, господа!” — горько воскликнул однажды великий Гоголь. А на каком весело?

Или вот только что мимо меня прошла средних лет, усталая и озабоченная дама, нервно говорившая в телефон: “Ты не можешь себе представить этот

кошмар! Сначала одно, потом другое. Все им не так, все им не нравится. Никакие нервы не выдержат! Ты знаешь, я просто сама не знаю, на каком я свете живу!”

Она, видите ли, не знает. А кто знает, в конце-то концов?

Вот и нету великана

Ужас-ужас. Вечно мы, закрутившись с текущей общественно-политической хренью вроде всяких идиотских выборов-перевыборов, упускаем все самое главное и судьбоносное. Пока мы тут умничаем, благодушествуем и бранимся, как малые дети, от нас тихой сапой ушли тараканы. Ушли не попрощавшись. Их нет больше с нами. Они ушли, как сказал бы действующий российский президент, если бы его вдруг огорошили вопросом о причине исчезновения тараканов.

Почему ушли? Да бог их знает. Застигнутые врасплох ученые-экологи гадают на кофейной

гуше и выдвигают несколько причин: “1. У тараканов, питающихся остатками с нашего стола, где появляется все больше генно-модифицированных продуктов, эти вещества вызвали изменения в генетике, и они вымерли. 2. Неблагоприятно сказались евроремонты с применением химии и неэкологических материалов. 3. Виновата высокочастотная мобильная связь. 4. Нарушение озонового слоя сбilo их биологические ритмы”. И еще чего-то.

Все перечисленное, наверное, имеет место, спорить с наукой — мракобесие.

Но позволю себе высказать сомнение. Когда это тараканы боялись трудностей? Они выживали еще и не в таких условиях. Дихлофоса они не боялись, а каких-то евроремонтов и высокочастотных связей, которых и в глаза-то никто никогда видел, или какого-то там озонового слоя они, видите ли, испугались. Подумаешь, говна пирога. Мы-то живем, и ничего.

Тут другое. Мы им просто надоели. Надоели до смерти. Ведь сколько лет вместе! Лет двести как минимум. И вот тебе на! Они устали от нашей неблагодар-

ности. От вечного нашего нытья и пессимизма. От дурного — чего уж греха таить — отношения к ним.

Я что, не помню, что ли, как в любой компании, собравшейся по случаю того или иного славного юбилея за пиршественным столом, разговор рано или поздно сползал на тараканов? Я что, не помню, как все делились друг с другом самими надежными способами избавления от наших рыжих домочадцев? Я не помню разве всех этих яростных ковровых зачисток с применением всех видов химического оружия? Помню. Со стыдом и раскаяньем.

Теперь, когда его нет с нами, с каким-то особым чувством томительной безысходности звучат и без того не чересчур веселые слова поэта:

Сто четыре инструмента
Рвут на части пациента.
От увечий и от ран
Помирает таракан.

Он внезапно холодеет,
Его веки не дрожат.

Тут опомнились злодеи
И попятились назад.

Поздно опомнились. Поздно попятились. Они ушли. Что имеем, не храним. А потерявши — плачем.

Экологи говорят об экологической катастрофе. А я — о гуманитарной. Что будет теперь, когда живой и актуальный таракан, столько лет прослуживший одной из продуктивнейших мифологем и сюжетобразующим фактором нашего общего быта и бытия, переведен в разряд мамонтов и птеродактилей.

Этот ужас не первый на моей памяти. Эта безвозвратная энтомологическая потеря — не первая в бесчисленной череде потерь. Первыми ушли майские жуки. Те самые, которые летали и жужжали во дворах и скверах моего детства. Те самые, которых мы ловили, сажали в спичечные коробки, а потом втихаря засовывали за шиворот той или иной избраннице. Нежный и мелодичный девичий визг до сих пор звучит в моей благодарной памяти. Вспоминая о нем, мне до сих пор хочется зажать уши руками. Эх, было время...

Теперь вот тараканы.

Как жить без них? Что рассказывать детям? Мы же все вышли из “Тараканища”. Мы же все помним про таракана, попавшего “в стакан, полный мухоедства”.

Экологи занесут таракана в Красную книгу. А в книге под названием “Мировая культура” таракан поселился давно, прочно и навсегда.

А теперь он станет объектом бережной музеефикации, как, впрочем, и многие из нас, живых свидетелей живых тараканов. Вот предполагаемый диалог из недалекого уже будущего:

- Дедушка, ты честно видел живого таракана?
- Да, внучек, видел. И не одного. Давно это, правда, было.
- А таракан большой? Больше тебя?
- Нет, он маленький. Как ты.
- Деда, а динозавра ты тоже видел?
- Нет, динозавра видеть не приходилось, врать не буду.

Ученые бьют себя в грудь: “Тараканов надо вернуть, иначе может нарушиться пищевая цепочка и потреблять отходы человечества будет некому”.

До каких же все-таки степеней эгоистично человечество! Значит, как их гнобить да травить, так мы первые. А как “потреблять отходы человечества”, так милости просим?

“А вот хрен вам! — скажет таракан. — Сами латайте теперь свою пищевую цепочку”. И ведь, признаемся, будет прав.

P. S.

На днях я спросил приятеля, до сих пор живущего в коммуналке и постоянно жалующегося на товарное количество рожденных ползать маленьких рыжих друзей, правда ли, что повсюду исчезли тараканы. В ответ на мой вопрос он как-то нехорошо хмыкнул и сказал: “Н-да? Не знаю, может, где-нибудь и исчезали...”

Так что, может быть, есть еще надежда?

Горячая линия

Я с детства и, признаюсь, до сих пор люблю такой почтенный и уютно старомодный жанр словесности, как заметки фенолога. Только нынче он куда-то совсем исчез. Видимо, ушли один за другим в иные пределы, где нет ни болезней, ни воздыхания, ни, что самое ужасное, сезонных изменений, скромные и работающие узкие специалисты вроде тех, кто умел когда-то необычайно ловко и до ужаса жизнеподобно рисовать птичек-зверушек и лепестки-травинки для энциклопедий и учебников.

А в детстве я этих фенологов читал в товарных количествах в отрывных календарях или просто-душных, слегка придурковатых изданиях наподобие “Работницы”.

Об этой своей детской любви я говорил и писал, и даже неоднократно. А повторяюсь я лишь по той причине, что вроде как сам вознамерился выступить в этом жанре, сознавая при этом совершеннейшую тщету подобных намерений. Да и как расскажешь об умирающих от жажды кустах, о траве цвета хаки, об обжигающем аравийском ветерке, если не владеешь утерянным навсегда искусством надежно клишированной сезонной лирики.

В общем, жарко, господа. Ужасно жарко. Вот, собственно, что я и хотел сказать, предварив это не слишком оригинальное соображение довольно громоздким и явно лишним предисловием.

Жара становится иногда главным информационным поводом. А такие идиоматические обороты, как “жаркая дискуссия” или “горячая линия”, стремительно теряют свою метафоричность.

Интересно еще, что разные информационные поводы при всех их несходстве и, скажем так, раз-

ноплановости обнаруживают непостижимую способность рифмоваться. Вот скажите, что может быть общего между жарой и недавним судебным сюжетом, связанным с современным искусством? Что общего между жарой и “возбуждением ненависти”? Казалось бы, если и есть какая-нибудь связь, то скорее обратная, ибо сезонные аномалии, как правило, сплавляют людей в общей беде. Моя жена вот буквально вчера видела, как в метро какая-то молодая девушка упала в обморок и как весь вагон дружно приводил ее в чувство.

Но не всегда так.

Вот идет, например, одна моя знакомая с электрички в сторону своей дачи. Одета она по погоде, то есть, скажем прямо, минимально. Ну, как большинство из нас в эти дни. А рядом, видимо из той же электрички, идет тетка в длинном платье и в платке и с очень строгим лицом. С тем напряженным и подозрительным выражением лица, каковое в определенных кругах непостижимым для здравомыслящего человека образом ассоциируется с духовностью.

Идут они рядом пять минут, десять. Потом тетка вдруг произносит как бы в никуда: “Ад!”

“Да, — охотно поддерживает разговор моя знакомая, — адская жара. И, говорят, еще хуже будет”. “Ад наступил, — продолжает тетка свою заветную мысль, — все голые ходят”. Знакомая благоразумно от продолжения темы уклонилась и продолжила движение молча. А тетка еще долго бормотала что-то про ад.

Про ад и рай представления, конечно же, у всех разные. Что и понятно: кто их видел-то, кроме Данте и Босха. Но как-то думается мне, что с людьми, для которых буквально адская жара — это вроде как не ад, а некоторая вольность внешнего вида — именно ад, причем кромешный, — с этими людьми не все в порядке. А их между тем очень много, и в некоторых местах нашей общей земной поверхности именно они устанавливают нормы, регулирующие общественные и частные представления о рае и аде, о добре и зле, о красоте и уродстве.

А нам что остается? А нам остается упорно и вместе с тем весело сопротивляться аду, явленному не столько даже кромешным зноем, который все-таки пройдет рано или поздно, сколько неизбывной человеческой глупостью.

Ну вот, я же предупреждал, что никаких заметок фенолога у меня не выйдет. Да и откуда — там никакого ада никогда не было. Там всегда только один сплошной рай, хотя бы потому, что в этих заметках было все, что угодно, — зверушки да птички, листочки да цветочки, пестики да тычинки, дождички да сосульки, ручейки да сугробы. Много чего там было. А людей там не было. А без них какой ад?

Модернизированная магия

Наша история — это не череда сменяющихся друг друга идей. Это лишь “смена вех”, то есть смена авторитетной лексики и фразеологии, взятой на вооружение — иногда не только в переносном, но и в прямом смысле этого слова — очередной властной, как бы это сказали в наши дни, элитой.

Многие сетуют: проблема нынешней власти прежде всего в отсутствии артикулированной идеологии.

А идеологии никогда и не было. Просто теперь это слишком хорошо заметно.

Во все времена страна управлялась лишь с помощью магии и присущих этой магии ключевых слов и словосочетаний. Когда эти мантры (сейчас бы сказали — слоганы) от чрезмерной эксплуатации протирались до очевидных прорех, приходили на смену другие, импортированные, как правило, из философских краев, но с помощью нехитрых усовершенствований приспособленные к местному бездорожью и туго надутые специфической духовностью здешних мест, духовностью, сообщающей мудреному заморскому диву необыкновенную легкость.

Нутряная потребность в царе-батюшке никогда не исчезала вовсе. Просто время от времени она властно требовала радикального терминологического обновления. Царизм пал оттого, что никак не мог избавиться от “самодержавия-православия-народности”. Все было сказано правильно: низы не хотели слушать старый язык, а верхи не могли заговорить на новом. На новом языке заговорили большевики. Вот и случилась революция, вследствие стремительных и бурных риторических мутаций давшая народу до сих пор горячо любимого товарища Сталина, успешно — в полном соответствии

с глубинными народными чаяниями — исполнившего роль “отца”. В данном случае — отца народов. Он пробудил к новой жизни всю мощную и вечно актуальную темную архаику, временно, хотя и бурно припорошенную буквальным, наивным пониманием “мировой революции”, “братства народов” и “светлого будущего всего человечества”. Поэтому он и был, и остается — безо всякой иронии, безо всяких кавычек и в соответствии с нынешней терминологией — эффективным менеджером. Так что не извольте сомневаться, что в словаре синонимов современной российской политмагии “эффективный менеджер” (соврем.) является наиболее близким синонимом “великого гения всех времен и народов” (устар.). В двадцатом бурном веке и смена магических тезаурусов происходила довольно бурно. После “отца народов” появились безликие “партия и правительство”, в моем кругу обозначаемые аббревиатурой “ПиП”. Когда ПиП вместе со всеми своими “построениями коммунизмов”, “продовольственными программами”, “ленинскими миролюбивыми политиками” и “развитыми социализмами” стали вызывать приступы неконтролируемого хохота

у всех, включая и самих колдунов, тогда и появились “ускорение”, “перестройка” и прочая “гласность”. Ну а дальше пошло-поехало. Одни слова сменить другие спешат, не дав ни минутки не только на то, чтобы их обдумать, но даже и запомнить.

А публика? А что публика? Произнесет какой-нибудь с высокого телеэкрана магическое слово “модернизация”, а уже легковозбудимая медийно-аналитическая общественность сидит и, перебивая друг дружку, гадают: будут пороть, не будут пороть. А другие, чуть менее нервные, все пытаются угадать, откуда и в какую сторону в этот раз понесут мимо них мешки с баблом. А вдруг чего по дороге просыплется, гадают более оборотистые. Хорошо бы оказаться неподалеку. Но и не слишком близко — на всякий случай.

Оно и правильно: ни в коем случае не надо пытаться задумываться над значениями произносимых ими слов. Суть и эффект магии не в значении слова и не в связях его с другими словами, а в самом его звучании, в интонации, в лицевой пластике произносящего, в ритме и частоте его повторений.

Любая магическая практика требует инструментального обновления. Иначе она перестает быть актуально

действующей и превращается в лучшем случае в сырье для искусства, то есть для культурной канализации.

Любая магия такова. Кроме самой древней и, думается, наиболее по сей день актуальной, составлявшей и составляющей серьезную конкуренцию магии официальной. Недаром же во все времена эта магия, вечно живая и бесперебойно действующая, подвергалась столь яростным нападкам и запретам со стороны бдительных охранников госдуховности — хоть в рясах, хоть с учительскими указками, хоть в погонах, хоть в том, другом и третьем одновременно.

Но эта магия живет и побеждает. И она переживет все. И “модернизацию” тоже.

Вот скажи-ка, читатель, скажи честно, какие слова ты произнесешь ясно, отчетливо и страстно, если прямо перед твоим носом шмякнется сосулька размером в твой рост? Неужели ты скажешь: “Да, друзья, есть еще слабые места в развитии отечественных нанотехнологий”? Что-то не верится мне в это, если честно. Что-то мне подсказывает, что ты скажешь нечто совсем другое. Можешь не отвечать, что именно. Я и сам знаю.

Вид из окна

Я уже и говорил, и писал, что считаю себя исключительно благодарным путешественником. Мне нравятся все места, где я бываю.

Я знаю, что есть и другие люди, по-моему, не очень счастливые. Они, как правило, придирчиво смотрят скептическим глазом на все, что отличается от привычных им среды и атмосферы. Все, что они видят, слышат, нюхают, едят и пьют, им кажется подозрительным и недружелюбным. Иногда такие люди называют себя патриотами.

А еще бывают люди, редко где бывающие, но обо всем все знающие достоверно и судящие безапелляционно и строго. Это совсем отдельный случай.

Я вот только что съездил в город Львов, в котором бывал и прежде и который очень люблю. Даже и не вполне знаю за что. Красота, конечно же. Но не только: красивых городов я видел в избытке. Но, гуляя по Львову, я все время ловлю себя на пробуждении какой-то едва ли не генетической памяти. Возможно, эту самую память я и выдумываю, ибо знаю, что мои предки по материнской линии из тех мест. Так или иначе, но эта, совсем до поры до времени чужая и даже экзотическая, городская среда кажется мне родной и близкой. Мне все время казалось, что я родился и вырос в этом городе, хотя я точно знаю, что родился и вырос в Москве. Кстати, подобное ощущение я испытываю не только в Львове, но и в Вене, и в Варшаве, и в Вильнюсе. Я так и вижу, как мимо меня толпой шествуют мои далекие предки — в черных шляпах, долгополых сюртуках, длинных юбках и платках.

Когда я вернулся в Москву, знакомая дама, вполне образованная, узнав, что я только что из Львова,

не преминула спросить: “А это правда, что в Львове за русскую речь можно склопотать по физиономии? Туда вообще не страшно ездить?” Опечалившись, что ходячие предрассудки прорастают в мозгах даже и вполне разумных людей, я ответил, может быть, даже излишне резко. Я просто сказал: “А ты съезди да посмотри”. “То есть все это глупости?” — облегченно спросила она. “Да еще какие!” — сказал я.

Я, конечно, не стал ей говорить, что по роже в принципе можно получить где угодно — хоть за русскую речь, хоть за нерусскую. Причем на родине, в пространстве бытования родного языка, вероятность эта, пожалуй, повыше будет, чем в том же Львове. Но можно, видимо, и в Львове — почему нет. От вероятности столкнуться на жизненном пути с агрессивным жлобьем не может застраховать никто. И я слышал рассказы о том, как кому-то где-то отказались что-то продать или показать куда-то дорогу. Насчет того, чтобы “по физиономии”, мне, правда, слышать не пришлось. Но и это теоретически возможно.

А вот мне, так уж получилось, буквально ни разу не приходилось натолкнуться даже на самые легкие

дуновения недоброжелательства со стороны “хозяев” тех городов, где мне приходилось бывать. Возможно, это какое-то особое везение. А может быть, дело в том, что я повсюду ощущаю себя благодарным, как это было заявлено вначале, гостем, который считает правильным и ничуть не обременительным для чувства собственного достоинства при каждом удобном случае давать понять хозяевам, как в их доме уютно, как вкусно их угощение и какой чудесный у них вид из окна. Даже в том случае, если окна выходят на мусорные контейнеры. Не очень искренне? Возможно. Возможно, более искренний человек скажет, что квартира у хозяев тесная, что дети у них невоспитанные, а курицу они пересушили. А уж вид из окна..

Кстати, о виде из окна и о том, как бывает трудно угодить людям, ждущим повсюду подвоха. Один мой знакомый как-то жаловался мне на свою тещу — ну, сюжет вполне классический. Так вот, однажды по просьбе этой самой тещи он занялся обменом ее квартиры, неудобной и ужасно шумной, на другую, более приемлемую. Главным тещиным требованием был пресловутый вид из окна — чтобы обязательно зелено и, главное, тихо.

Он долго искал и смотрел разные квартиры. Наконёц-то нашел, чтобы зелено и тихо. Причем он нашел то, что не просто тихо, а даже очень тихо. Привез тещу посмотреть. Приехали. Квартира теще понравилась: все расположено удобно и рационально. Этаж невысокий. Так что, если сломается лифт, ничего страшного. Кухня небольшая, но вполне.

Пошли смотреть вид из окна. Посмотрели. Теща взглянула на зятя и сказала: “Ты что, издеваешься? Ты на что, собственно, намекаешь?” Дело в том, что окно выходило на кладбище.

Против естественного

Хотите узнать, какое было мое самое первое впечатление от города Хельсинки, куда я в далеком уже 1989 году приехал на поезде с чудесным названием “Лев Толстой”?

Вот какое оно было. Поезд подъехал к перрону поздним утром — около одиннадцати, если я правильно помню. В окне я увидел лицо своего финского приятеля и переводчика. Лицо это выражало жадное недоумение и было направлено вовсе не в сторону моего вагонного окошка, откуда я энергично, хотя и тщетно посылал ему приветственные

знаки. Нет, лицо его напряженно глядело в совсем другую сторону, где и поезда-то никакого не было. Я вышел из вагона и сразу же увидел то, от чего никак не мог отвести очарованного и бесконечно изумленного взора мой приятель. Прямо посреди перрона сидела на корточках не очень уже молодая грузная тетка и, подобрав свою пышную юбку, производила довольно бурный процесс мочеиспускания. Завершив таким образом свой утренний туалет, тетка поднялась, поправила юбку и невозмутимо пошла восвояси, кокетливо поигрывая сумочкой.

Тут мой друг наконец-то заметил и мою смятенную фигуру. Торопливо поздоровавшись, я спросил: “А это... как его... это у вас так принято, что ли?” — “До сих пор мне казалось, что нет, не принято. Во всяком случае, за сорок лет я это увидел впервые”. Я, впрочем, тоже на протяжении этого, а также и всех последующих визитов в Финляндию ничего даже отдаленно похожего на описанный эксцесс не наблюдал. Более того, именно эта страна остается в моей памяти как место необычайной чистоты, повышенной опрятности и душевного спокойствия. Но как велико, согласитесь, искушение составить

общее мнение о стране под воздействием первого, особенно столь яркого впечатления. Вот как тут не соблазниться и не соорудить в своей картине мира устойчивый образ Финляндии как страны, где все пишут где ни попадя. “Финляндия — культурная страна? Ха, не смешите! Я сам видел, как люди ссут прямо на перроне”.

Или вот город Цюрих, один из самых спокойных городов мира, где в первый же день я чуть не угодил под трамвай, а во второй умудрился стать свидетелем довольно-таки жесткой драки между двумя приличного вида взрослыми мужчинами, вышедшими из супермаркета. Драка, впрочем, продолжалась недолго, потому что к месту происшествия минуты через полторы подъехала полицейская машина. Ага, понятно: Швейцария — страна распущенных и агрессивных людей, привыкших любые проблемы решать с помощью кулаков. Не верите? Да я сам видел!

Для человека социально ущемленного, к тому же выросшего и сформировавшегося в вольере, подобные впечатления служат не досадным или забавным штрихом, свидетельствующим о том, что мир вовсе

не обязан полностью соответствовать нашим устойчивым представлениям о нем. Для такого человека подобные впечатления служат лишь сладостными подтверждениями того, что не один он такой. Что повсюду то же самое. Что “весь мир бардак, все люди бляди”.

Это понятно: родившемуся в зоопарке тюленю трудно, практически невозможно объяснить, что есть на свете тюлени, плавающие в океане. И что вообще бывает на свете океан. И что не все в этом океане, как ни странно, гладко. “Да ладно, знаем мы этот океан, — говорит вольерный тюлень, — миф и пропаганда. Там небось и клеток-то нет. И харчи небось самим надо добывать”.

Различные фобии, принимающие форму устойчивых суеверий и предрассудков, вообще изначально присущи человеческой природе. Они возникают раньше, чем аналитическая способность их корректировать и обуздывать. Они приходят раньше, чем чувственный, социальный и интеллектуальный опыт. Фобии, увы, естественны. Но, как мы узнаем в процессе взросления, не все естественное должно становиться ведущим мотивом социального поведения.

Нутряной древний страх перед огнем тоже естествен. Но посидеть со стаканом глинтвейна у жарко растопленного камина... Но задремать под уютное потрескивание березовых поленьев... Ну, в общем, понятно.

Скверный анекдот

Я не очень я люблю этот разухабистый праздник. Может быть, дело в том, что я всегда был очень уж доверчив, очень уж был “обманываться рад”. А сам фатально не умел чего-нибудь этакое выдумать, как ни старался.

А ведь были неутомимые выдумщики. И, главное, вполне успешные. Однажды, например, мой школьный приятель, а в то время — консерваторский студент собрал немалое число людей на довольно отдаленной подмосковной станции, где в местном клубе якобы должен был состояться полуподпольный

просмотр кинофильма “Восемь с половиной”. Те, кто хоть чуть-чуть представляет себе жизнь и нравы интеллигентного горожанина конца 1960-х годов, поймут, о чем речь.

Надо ли уточнять, что сам он туда не приехал — что он, дурак, что ли.

Тщетно прождав его минут сорок и основательно продрогнув на весеннем ветру, мы принялись недоумевать: Мишка же ответственный и обязательный человек, не случилось ли чего. Но когда кто-то из наиболее проницательных осторожно поинтересовался, какое сегодня число, все сразу все поняли.

Сначала все, перебивая друг друга, со вполне объяснимой душевной теплотой высказались в адрес первоапрельского шутника. Потом, поостыв и пораскинув мозгами, отправились в пристанционный магазинчик, где закупились некоторым количеством соответствовавших моменту напитков и в результате совсем неплохо провели время в электричке, умчавшей нас обратно в Москву. И даже, помнится, расчувствовавшись, выпили и за здоровье виновника нашего импровизированного торжества.

Но такое бывало редко. Все больше глупости какие-то.

В этот день любят отмечаться и средства массовой информации, сообщаящие что-нибудь вроде того, что на обратной стороне Луны обнаружен окаменевший скелет семиметрового примата или что девятнадцатилетняя норвежская принцесса Брунгильда торжественно объявила о своей помолвке со вдовым штукатуром, уроженцем города Тернополя, временно зарегистрированным в подмосковном городе Электроугли, куда принцесса заезжала на пару дней по делам защиты фиолетовых моржей от их массового истребления в Охотском море.

В Европе этот день принято называть Днем дураков. Но можно еще сказать, что это и День обманщиков и врунов. То есть этот день как бы карнавально легитимирует то несомненное и довольно печальное обстоятельство, что общество так или иначе делится на две неравные части — тех, кто вешает лапшу, и тех, кто с готовностью подставляет собственные уши.

А еще это профессиональный праздник весельчаков и юмористов. С одной стороны, живя в нашей стране, нельзя не шутить, так как лишь это одно

спасает от бездонного экзистенциального отчаяния. С другой стороны — шутить всегда опасно. И не только в том смысле, что это опасно для жизни и здоровья самого шутника. Это опасно еще и тем, что любая шутка обладает удивительной способностью становиться грубой реальностью.

Я помню, например, как незадолго до одной из президентских кампаний мы с друзьями-коллегами сидели перед телевизором и лицезрели классическую сказочную советскую ткачиху, умолявшую Путина (от имени народа, разумеется) не бросать народ в такую трудную для страны минуту, не покидать своего бессонного поста, не выпускать из натруженных рук весел галерного раба. “Эх, ее бы в парламент”, — печально пошутил кто-то. И вот, пожалуйста. Нет, не надо шутить.

Наша общественная жизнь за последние сколько-то лет и без того превратилась в один сплошной анекдот, радостная, освобождающая концовка которого не видна даже на горизонте.

Анекдот — вещь хорошая. Особенно если этот анекдот смешной. Но, во-первых, наш российский скверный анекдот становится все менее и менее

забавным. Во-вторых, существовать долго в пространстве нескончаемого анекдота довольно-таки мучительно.

Анекдот вообще-то хорош прежде всего тем, что он существует на фоне всеми признанной нормы. Он потому и анекдот, что выявляет в нашей текущей жизни анекдотические черты. Но когда анекдот и жизнь становятся неотличимыми друг от друга, дело пахнет семиотической катастрофой.

Какое уж тут Первое апреля!

Сбыт мечты

Я вот все думаю: что же мне все это так напоминает. Читал ли я об этом когда-то? Слышал ли? Видел ли в кино?

Именно! И читал, и слышал, и видел. Весь этот нынешний чекистско-приблатненный гопнический капитализм был придуман давно, в глубокие еще советские годы. Он был придуман советским агитпропом для описания капитализма западного, настоящего.

Придуманный, сконструированный советским агитпропом западный капитализм никакого отношения к реальному Западу, конечно же, не имел,

а если и имел, то весьма косвенное. Но он прочно поселился в сердцах и головах нескольких поколений советских людей.

Я думаю, что младокомсомольцы и младочекисты поздних советских лет, когда уже “развитой социализм” прокис и протух настолько, что от него и его прелестей стали воротить нос даже они сами, тайно мечтали о капитализме — не о том, который реально существовал и существует в современных развитых демократиях, а об этом самом, агитпроповском, которым стращали несколько поколений строителей коммунизма.

Они мечтали о том самом капитализме:

- где человек человеку волк;
- где всем правит чистоган;
- где все покупается и продается;
- где действует лишь логика денежного мешка;
- где в дыму и копоти утопают города контрастов и желтых дьяволов;
- где нам бы, нам бы, нам бы, нам бы всем на дно;
- где дети роются в мусорных ящиках, бедняки стоят у обшарпанных стен с таблич-

ками “согласен на любую работу”, а пузатые набриолиненные богатеи с зубастыми красотками в норковых шубах под вспышки пронирыливых папарацци упаковываются в сверкающие лимузины;

- где в газетных реках вальяжно плавают жадные до наживы и циничные акулы пера;
- где полиция машет дубинками направо и налево, отоваривая кого попало по ребрам и головам;
- где хищные чиновники вымогают взятки даже с вдов и сирот;
- где ястребы в фуражках с гербами и золотых погонах бряцают оружием, пугая мирных беззащитных соседей;
- где правильные белые пацаны в широкополых шляпах и с сигарами в крепких зубах ставят на место зарвавшихся и много об себе понимающих потомков дяди Тома;
- где повсюду красуются плакаты с надписью “только для белых”;
- где “там замучили студента, там убили президента”;

- где Мистеру Твистеру удалось-таки всеми правдами и неправдами купить дом над Невую;
- где Синьор Помидор окончательно одолел беспонтового Чиполлино;
- где девочки танцуют голые, где дамы в соболях, лакеи носят вина, а воры носят фрак.

Им на излете перезревшего социализма смертельно обрыдло быть кибальчишами с не очень удачной карьерой. А куда как круче, решили они, побыть уже наконец-то нормальными плохишами с корзинной печенья и бочкой варенья в загрebuщих руках.

Они мечтали именно о таком капитализме, придуманном в коллективной башке агитпропа. Только, чур, чтобы устрицы, айфоны и кредитные карты были настоящие, не сказочные.

Они так много лет сочиняли для населения сказки про “пресловутую западную демократию” и “так называемый свободный мир”, что постепенно и сами стали верить в свои вдохновенные бредни. И мало того что верить. Они стали сначала подспудно, а потом все отчетливее стремиться посетить сей мир, обжиться в нем и его оседлать.

Рисуя и изобретая чужой “ад”, противопоставленный их коммунистическому раю, они дали волю подсознанию, они изобрели именно свой тайный рай — такой, какой только и мог родиться в их небогатых мозгах.

И вот они построили этот самый капитализм — нормальный, загнивающий. С монополиями и эксплуатацией человека человеком. Как учили.

И ИХ капитализм получается ровно таким же, каким был ИХ социализм, то есть тупым, жестоким, тошнотворно бездарным, демонстративно бесчеловечным. То есть сталинским. Можно было бы добавить — карикатурным, если бы он, как карикатура, существовал только на бумаге и если бы гротескные карикатурные линии не становились иногда кровоточащими шрамами на живых человеческих судьбах.

Метафорам, как известно, время от времени свойственно реализовываться, а снам разума, рождающим известно что, свойственно иногда сбываться. И вот.

А нам soronoo

В наши дни довольно много и более или менее справедливо говорят о том, что мы живем в постидеологическую эпоху. О том, что это и плохо, и хорошо одновременно. О том, что идеологический вакуум может привести к катастрофе, а может, напротив, помочь избежать катастрофы, к каковой неизбежно привела бы сильная и ложная идея, овладевшая массами, как это бывало в прошедшем веке. Говорят, что на том месте, где была когда-то идеология, осталась одна, но пламенная страсть, имя которой — деньги. И ничего, кроме них.

Мне думается, что есть все же некая национальная идеология, властно, уверенно и уже довольно давно овладевшая если не всем населением, то критической его массой. Эта идеология пагубна или спасительна в зависимости от исторических, социальных, личных и прочих обстоятельств. Она не то чтобы владеет умами, но она лежит в основе поведенческих реакций, поступков и жизненных концепций. Имя ей...

На этом интересном месте я прервусь ради небольшого отступления.

Широко известно, что наш с вами родной язык во все времена подпитывался, обогащался и засорялся заимствованной лексикой и фразеологией. Многие понятия, пришедшие в наш обиход из прочих языков, подчас обрусевали настолько, что начисто забывали о своих исходных значениях. Иногда меняли их на противоположные. Недавно, например, г-н министр внутренних дел сообщил нам о том, что явление со звучным и пышным названием “коррупция” начисто исчезло из нашей жизни. Поэтому знайте, сограждане: если у вас вымогают взятку, то это не коррупция, это что-то другое, имеющее до боли знакомые очертания, но до поры до времени лишенное имени.

Но не только наш язык впитывает чужие слова. Иногда и наши слова конвертируются в международный контекст, чем можно гордиться, но можно и печалиться в зависимости от того, что это за слова.

Bistro, sputnik, glasnost, samovar, kazak и *dacha* — это ничего еще. А вот с широко известным в мире словом *pogrom* дело обстоит куда грустнее.

Это примеры известные. А есть вещи малоизвестные. Вот, например, знакомый финский славист говорил мне, что в финском языке существует такое просторечное словечко, как *sorpono*, которое восходит к русскому “все равно” и означает примерно то же самое. Но никто, кроме специалистов, об этом не догадывается, как, кстати, и многие современные немцы страшно удивляются, узнав, что зловещее слово *pogrom* является заимствованным.

Или вот. Мой старинный таллинский приятель рассказал мне такую довольно забавную историю. Зная некоторую склонность этого моего приятеля к, мягко говоря, преувеличениям, степень достоверности этой истории я оставляю на его совести. Но, как говорят финны, *sorpono*.

Приятель этот, хотя и вырос в русскоязычной семье и закончил русскую школу, эстонским все же владеет неплохо. И вот сколько-то лет тому назад, когда эстонская независимость была еще в своей героической поре, он сидел у телевизора и заинтересованно наблюдал за бурными парламентскими дебатами. Выступал там в числе прочих и некий молодой и энергичный политик. Он говорил ярко, темпераментно и довольно жестко. Впрочем, одно слово, причем повторенное неоднократно, мой приятель все понять не мог — совсем незнакомым было это слово. Оно не давало ему покоя особенно потому, что при его очередном произнесении зал заметно оживлялся. Из контекста было примерно понятно, что это слово означало что-то вроде “индифферентность”. Что-то вроде социальной апатии, равнодушия и “моей хаты с краю”. Заинтригованный, он полез уже было за словарем, но на него снизошло внезапное счастливое озарение. Он буквально хлопнул себя по лбу и радостно рассмеялся. И было отчего, потому что незнакомое эстонское слово звучало как *rohulism*.

Но что-то мы, читатель, увлеклись нашим отступлением. На чем мы там остановились, не помните?

“Ребята, вы чего делаете?”

Ну слава богу, высказались некоторые из моих соотечественников. И не из последних, а из тех, кто и по своей социальной функции, и по самоощущению призван олицетворять ум, честь и совесть нашего и без того высоконравственного общества. Молодцы, не промолчали, не спасовали перед грозным вызовом стихии, обрушившей свою смертоносную мощь на Японские острова.

Вообще-то все понятно. И каждому человеку в отдельности, и целым народам при соприкосновении с чужой бедой свойственны два сильных чувства:

сострадание и стремление прийти на помощь — и в то же время тайная, постыдная радость, что все это приключилось не с тобой и не с твоими родными. Дело лишь в том, какое из этих сильных чувств сильнее, какой из рефлексов расположен ближе к поверхности, какой из них проявит себя в первую очередь, а какой будет загнан поглубже, в тайники подсознания.

Прожив всю жизнь в своей стране, я привык к тому, что на уровне рефлекса стремление обмануть, как правило, первичнее, чем стремление сказать правду, и, как следствие, подозрительность первичнее, чем доверчивость. Лишь когда я стал выезжать за пределы необъятной родины, я заметил, что в глазах, например, полицейского ты по умолчанию являешься законопослушным гражданином и лишь по своим поступкам можешь быть переквалифицирован в реального или потенциального правонарушителя.

Сначала на страницах общенациональной газеты высказалась экзальтированная медийная барышня, выразившая в связи с потрясшей весь мир японской бедой совершенно не прощенный, но при этом безудержный восторг по поводу того, как же все-таки Бог любит Россию, что обходит ее сторо-

ной со своими небесными и тем более подземными карами. Тут, кстати, трудно не согласиться. Бог действительно обходит Россию стороной. И не только в этом смысле. И грозной стихии действительно нет никакой нужды вмешиваться в процесс массового истребления людей, когда с этой задачей всегда неплохо справлялось государство. А землетрясения, извержения вулканов и цунами для России и правда не слишком характерны, тут не поспоришь.

Не то чтобы эта барышня не посочувствовала несчастным соседям. Конечно, не зверь же она какой. Посочувствовала примерно в таком роде, как одна соседка другой по поводу смерти мужа: “Я, Марья Николавна, глубоко соболезную вашему горю, но знаете, какое дело... Ваш муж две недели назад занял у нас четырнадцать рублей... Нет-нет, не срочно, можно и завтра”.

Сказало свое веское слово и духовное лицо, чье благочестие поднялось до таких высот, что оно окончательно поверило в сглаз, в порчу, в черную кошку, в пустое ведро и в то, что за любой аббревиатурой прячется сам черт с рогами и хвостом. Лицо это сообщило нам, что “практически все русские

люди в один голос, не сговариваясь, утверждают, что страшный природный катаклизм в Японии есть возмездие этой стране за оскорбление нашего Отечества”. И дело даже не в том, что такое произносится служителем церкви. К этому мы уже как-то привыкли. А вот оскорблять “практически всех русских людей”, которые “в один голос”, — это уже, пожалуй, слишком. Я в эти дни разговаривал с довольно немалым числом русских людей и что-то ничего подобного “в один голос” не слышал. Не повезло, наверное. Не на тех, видимо, попал.

Ну и не могло обойтись без дважды утомленного солнцем главного режиссера суверенно-демократического государства, у которого на том месте, где водился когда-то несомненный артистический дар, давно уже выросла огромная мигалка. И он не прочь призвать в союзники самого Всевышнего и не своими, а именно Его словами обратиться к неразумному японскому народу с увещаниями. “Ребята, вы чего делаете?” — как бы говорит как бы Господь устами Своего любимца Никиты. После чего, понятное дело, Господь “посылает бедным японцам девятибалльное землетрясение с цунами”. А вы как думали.

Так или иначе, но во всех этих высокодуховных реакциях на чужое несчастье властно звучит тема Божьей кары, наказания за грехи. Ну что ж, в контексте религиозного сознания действительно невзгоды принято рассматривать в категориях греха и искупления. И верующий человек действительно склонен рассматривать любую беду как наказание за грехи или испытание. Но только по-настоящему верующий так относится именно к СВОИМ несчастьям, а не к чужим. А такие, как эти, если что-то, не дай бог, случится с ними, первым делом закричат: “А меня-то за что?!” А вот если у соседа загорится сарай, они назидательно скажут: “Бог наказал. Не хрена было своих кур на мой огород пущать”.

Да и вообще давно известно, что если Бог хочет кого наказать по-крупному, то он не насыляет на него землетрясений и наводнений. Зачем? Это не наказания. Это всего лишь испытания, которые одних пригибают к земле, а другим дают шанс проявить все лучшее, что в них есть. А вот наказание — это когда тебя лишают рассудка, совести, вкуса и нравственного инстинкта.

Мыть или менять

Был у меня когда-то давно, в студенческие годы, приятель, не очень долговременный, но ярко запомнившийся. Он был добрый малый, в дружбе и в быту необычайно легкий, уступчивый и вообще комфортный. Единственным обстоятельством, эту самую комфортность существенно колебавшим, было какое-то абсолютное, химически чистое отсутствие чувства юмора. Шутить или каламбурить в его присутствии было делом заведомо провальным.

Зато у него была другая яркая черта: он был неутомимым мечтателем. Мечтательность его была

какого-то особого рода. Он постоянно задавался какими-то, всякий раз неожиданными и бесконечно далекими от практической насущности вопросами. Этими удивительными вопросами он непременно делился с теми, кто оказывался рядом.

Вот, допустим, едем мы с ним посреди московской зимы в холодном автобусе с заледеневшими окнами, а я вижу по его глазам, что в его голове происходит важная работа и что там прямо на моих глазах зарождается один из вечных вопросов непостижимого бытия. Наконец он говорит: “Как ты думаешь, если бы комар был размером с корову, что было бы?” Вот откуда, скажите, мог взяться этот вопрос в московском зимнем автобусе при полном отсутствии как коровы, так и комара в сколько-нибудь обозримых пространстве и времени? Я честно и определенно сказал, что не знаю, потому что действительно не знал. Потому что в подобных обстоятельствах я не находил в себе ни малейших ресурсов, позволивших бы запустить механизм воображения.

В другой раз, но уже в троллейбусе, он вдруг хмыкнул и сказал: “Интересная вещь! Вот мы едем сейчас в сорок первом троллейбусе, а у меня как раз

сорок первый размер обуви. Правда, забавно?” “Ага, забавно”, — безвольно согласился я. Он вообще умел подавлять волю собеседника мощным напором своего сюрреалистического воображения.

А вопросы относительно того, как вели бы себя стулья и табуретки, если бы они были живыми существами, то есть сбрасывали бы они седоков или стояли смиренно, даже и не предполагали ответа, а лишь вызывали встречные, неизбежно тревожные вопросы, которые по понятным причинам оставались несформулированными, по крайней мере вслух.

А еще он однажды спросил: “Как тебе кажется, что лучше: мыть ноги и не менять носки или менять носки и не мыть ноги?” Ну как ответишь на столь категорично поставленный вопрос?

Об этом своем давнем приятеле я недавно вспомнил лишь потому, что в памяти всплыл его незабываемый и, в сущности, неразрешимый вопрос про носки и ноги. А всплыл он потому, что в последнее время я постоянно натываюсь на оживленные дискуссии о том, какой все-таки из режимов предпочтительнее — нынешний или советский. Когда было лучше — тогда или теперь? Дискуссии эти бывают

довольно бурными, с привлечением исторических справок и множества авторитетных цитат. Одни говорят, что, конечно, тогда было то-то и то-то, но зато было и вот такое. А теперь, конечно, вот такого нет, но зато есть вот это. Поэтому, разумеется, уж лучше это, чем то. Нет, говорят другие, то, конечно, было не сахар, но уж получше, чем это. Да чем же это получше, кипятятся первые, если такого-то совсем не было, а теперь все-таки есть, хотя, если задуматься, может вскорости и не быть.

Вот и мы о том же, торжествуют вторые. Хотя и не слишком уверенно. И дискуссия продолжается.

И будет она продолжаться до тех пор, пока ее участники не задумаются над задачей, поставленной однажды моим мечтательным приятелем и до сих пор не нашедшей ответа.

Пусенька, зачем?

Есть такая группа художников, проходящих по ведомству уличного искусства, которые на глухих стенах домов и бетонных заборах строительных площадок оставляют таинственные надписи. Самая распространенная — это короткое, но необычайно насыщенное интерпретационными возможностями слово “зачем”. Даже, кажется, и без вопросительного знака. Просто — “зачем”.

Это убийственное в своей заведомо выигрышной позиции “зачем” вполне достойно занять свое законное место в ряду самых знаменитых русских

вопросов “Что делать?” и “Кто виноват?”. Вопрос “зачем” вечен, как “Экклезиаст”. Все суета сует и всяческая, как известно, суета.

Вопрос “зачем” звучит постоянно и всегда ставит в тупик. Ну ведь и правда — зачем?

Вот, например, ведутся жаркие и не всегда мирные споры про гей-парад и его жесткий разгон. “Нет, а зачем они это делают? — кипятится вполне разумный и вполне либерального умонастроения собеседник. — Они же знают, что это очень многих раздражает”. “А ты уверен, — говорю я ему, — что твоя красная футболка никого не раздражает? Я не сомневаюсь, что кого-то она страшно бесит. Зачем ты ее носишь? Мог бы и поскромнее одеться. Когда ты в семидесятые годы носил хаер до плеч, это никого не раздражало? Ну-ка вспомни. А твоя нерусская фамилия никого не раздражает? Как тебе кажется? Может быть, сменишь ее на какую-нибудь более конвенциональную? Да и небольшая пластическая операция тебе, я думаю, не помешает”. “Не надо утрировать, — говорит он. — Это другое дело”. Почему другое? Почему это я утрирую?

Ненависть — иррациональная и темная — первичнее, чем ее объект. Она не порождается предметом раздражения. Она им только провоцируется. Предмет найдется — была бы ненависть. А она всегда наготове. Объектами ненависти в разные времена были то раскольники, то инородцы, то “буржуи”, то попы и монахи, то опять инородцы, то стилияги, то хиппи, то панки, то Америка, то мусульмане, то опять же инородцы. Теперь вот одной из болевых точек на теле общества оказались геи и их проблемы — совсем, между прочим, не надуманные.

“Зачем ты носишь нательный крестик? Ты же знаешь, как у нас к этому относятся”. Так в середине 1970-х годов увещевала моего друга его любящая мама. “Знаю, — отвечал он, — именно поэтому я его и ношу”.

“Зачем же ты написал в своей анкете, что ты еврей? — говорили другому моему другу заботливые люди. — У тебя же русский отец. Записался бы русским. Ты же знаешь..” “Знаю, — отвечал мой другой друг, — именно поэтому и написал”.

Усмирение ненависти посредством устранения ее объектов, реальных или мнимых, акту-

альных или потенциальных, мне кажется самой неправильной и трусливой стратегией. Ненависть этим не изведешь. Она всего лишь переключится на новый объект.

“А зачем эти люди пишут письма и заявления? — говорит умудренный жизнью скептик. — Они что, не понимают, что ничего изменить они не могут?”

За всех говорить не берусь, но думаю, что многие это прекрасно понимают. Я, во всяком случае, подписывая время от времени разные протестные документы, ничуть на этот счет не обольщаюсь. Но на вопрос “зачем” ответ у меня есть. Затем я это делаю, чтобы просто сообщить вслух о своем несогласии считать себя тем бессловесным и согласным на все быдлом, каким меня представляют себе те, к кому этот протест относится. Не так это мало, как может показаться.

Мой товарищ, человек необычайно наблюдательный, рассказал мне недавно о своей чудесной находке. Пошел он на кладбище навестить могилу родителей. Недалеко от этой могилы он обнаружил новый памятник. Памятник как памятник. Обратил он внимание на эпитафию, поразившую его предель-

ными лаконизмом и эллиптичностью, с каковыми была выражена вся бездонная глубина чьего-то экзистенциального отчаяния. Там было написано: “Пусенька! Зачем?”

И правда, зачем?

Империя хни

Как только до меня дошла благая весть о грядущем втором пришествии, я сделал короткую запись в “Фейсбуке”. “Ну что же, друзья, — написал я. — Со старым новым гадам вас. Вроде бы никакая ни разу не сенсация, но с отчетливым вкусом хозяйственного мыла во рту, что делать?”

Да, примерно такой вкус ощутил я, нырнув в телевизор и вдруг увидев во всей своей первозданной красе XXIV съезд КПСС — с теми же президиумами, с теми же овациями и вставаниями, с теми же умильными и торжественными “партхозактивными”

выражениями лиц. “Откуда эти лица? — думал я. — Это совсем вроде бы другое поколение?” Нет, дело не в поколениях, а в той токсичной общественной атмосфере, где только и могут плодиться и размножаться эти мутанты.

Я занимаюсь искусством, а потому все, что касается формы и стиля, для меня не менее содержательно, чем то, что принято называть содержанием. То, что происходило, и, главное, ТАК, как оно происходило, человек с хотя бы элементарными представлениями о вкусе и общественных приличиях не может воспринять иначе, чем как оскорбительную непристойность.

Год или два тому назад какого-то активиста подвергли полицейскому преследованию за лозунг “Долой самодержавие и престолонаследие!”. В общем, я думаю, правильно его наказали. Надо стараться тщательнее все обдумывать и выражать свои мысли более корректно. Потому что то, что мы наблюдаем, — это, разумеется, никакое не престолонаследие. Куда там! Это нормальный воровской сходняк, где пред всем честным и нечестным народом какой-нибудь Димон коронуется условного

Вована, а тот за это со своего плеча ему — бац! — премьерское кресло. Не ссы, дескать, Димон, пацаны своих не сдают. Все по понятиям. Вон и батюшка Чаплин сказал, что все типа по чесноку и что это, как его, “пример доброты и нравственности”. Этот-то за базар отвечает, пургу гнать не будет. Место ты мое посторожил — спасибо, братан. И я тебя не забуду — останешься доволен. А чтобы другие пацаны, которые не то чтобы не по понятиям, но по другим каким-то там своим понятиям нам предъяв не кидали, мы им там выборы изобразим в лучшем виде, процентики всякие, то-се, хуемое. Как у людей, короче. Они же, в общем-то, лохи те еще, поверят как миленькие. А не поверят, так прикинутся, что поверили. Да и как им не поверить, прикинь: они ж без нашей солярки с места не сдвинутся. А с нашей местной ботвой нам и вовсе покатило: лох на лохе сидит и лохом погоняет. Эту породу еще усаый пахан вывел с помощью Мичурина и Лысенко. Они хоть за нас с тобой, хоть за черта ушастого придут голосовать. Золотой у нас народ, братан, я так скажу. Я бы с ним... ну, короче, в разведку или там горы какие свернуть..

Почему я испытал столь сильные чувства, при том что ничуть не сомневался именно в таком повороте событий? Надеялся на что-то? Да нет, вряд ли. Не привык к их запредельному и, главное, оскорбительно наглому и вполне открытому жульничеству? А вот это да, не привык. И привыкать не собираюсь. Ибо именно та самая рутинная привычка, которой они только от нас и ждут, настоящей катастрофой и будет. Нет, не надо привыкать. Надо жить с ясным и непоколебимым пониманием того, что есть норма, а что есть патология, надо жить со звездным небом над головой и с нравственным законом внутри нас.

И с нами все будет в порядке, я уверен. Это они тут временные, а мы-то постоянные. Мы живем не одним и даже не двумя президентскими сроками. Мы-то живем историей и в истории. А история подлиннее будет трех и даже четырех президентских сроков. Она даже длиннее самого, страшно сказать, Путина в придачу с этим, как его... ну тем, который целые четыре года верно, как пионер из рассказа Пантелеева “Честное слово”, сторожил и грел президентский стул. Так что со стулом у них теперь некоторое время все в полном порядке. А вот со всем остальным...

В эти дни все спрашивают друг друга: “Что будет?” Я не знаю, что будет. Я не любитель прогнозов, и жизнь неоднократно давала мне понять, что она, жизнь, все равно причудливее, чем все прогнозы самых прозорливых прогнозистов.

Может быть, будет так же, как теперь. Может быть, хуже. Но я знаю, что когда слишком уж укрепляют вертикаль без учета почвы, на которой эта вертикаль стоит, то вертикаль эта может в одночасье рухнуть. И остается лишь уповать на то, чтобы не слишком она придавила тех, кто внизу.

За себя, за свой ближайший и даже не ближайший круг я не особенно беспокоюсь. Мы уже есть. Такие, какие есть. И другими нас не сделает никакая вертикаль.

А за детей я все-таки тревожусь, представляя себе, как они станут постигать этикетные нормы родного языка на примерах “жевания соплей” и “отрезания, чтобы не выросло”. Как они будут постоянно видеть перед собой на портретах скучное лицо районного опера с тухлыми глазами. Как они будут учиться нравственности на примерах этики сходняков и общаков. Как оперившиеся недоучки, вывалив-

шиеся из Якеменкова гнезда, станут их учить любить родину и свободу. Как их будут насильно пичкать прогорклым ладаном и уверять, что таковы “основы православной культуры”. Как им будут объяснять, кого именно они должны благодарить за их счастливое детство, заботливо огражденное от происков злых дяденек из НАТО и агрессивной грузинской военщины.

Впрочем, хватит о грустном. Хочется все же напоследок рассказать что-нибудь веселое. Ну хотя бы это.

Моя знакомая рассказывала недавно, как она со своими друзьями ехала однажды на чью-то дачу. В электричке. С детьми. Ехать было довольно далеко. В какой-то момент она доблестно решила принести себя в жертву и взяла на себя детей, чтобы дать спокойно пообщаться взрослым, которые давно друг друга не видели. Она усадила детей поближе к окну и принялась импровизировать, используя мелькавшие за окном надписи и плакаты в качестве сказочных топонимов. “Мы, ребята, въезжаем сейчас в королевство “Лукойл”, — говорила она. — В нем правит король Лука, прославившийся тем, что...”

И так далее. “А теперь, ребята, мы прибыли с вами в княжество “Кирпич-цемент”. Называется оно так потому...” Ну, в общем, понятно. Дети сидели тихо, как заколдованные. И вдруг на крыше большого сооружения они увидели надпись, поразившую не только детей, но и взрослых. Там огромными буквами было написано: “ИМПЕРИЯ ХНИ”. Когда кто-то из взрослых сообразил, что это всего лишь “Империя кухни”, где “к” упало, “у” пропало, а осталась лишь одна безысходная хня, все разразились громовым освобождающим смехом. А эта семантически неопределенная, но от этого лишь еще более соблазнительная и выразительная “хня” прочно вошла в речевой обиход ее и ее друзей. “Что это еще за хня такая?” или “Ну и прочая всякая хня”, — говорят они по тем или иным поводам. А уж формула “империя хни” не является ли универсальным и практически исчерпывающим обозначением того общественно-государственного строя, того агрегатного состояния, в котором пребывает ныне наша страна?

И-да.. Кажется, весело все же не получилось. Но ничего, в другой раз как-нибудь.

ЗНАКИ ВНИМАНИЯ

Иду на мы

Местоимение “мы” в контексте любой общественной дискуссии в подавляющем большинстве случаев носит характер исключительно ритуально-усилительный. Оно как бы придает дополнительной весомости тому или иному высказыванию. Хотя, по-моему, совсем наоборот.

Попытка уточнить, кто такие “мы”, не только не вносит ясности, а лишь усугубляет и без того отчетливое ощущение абсурда. Потому что “мы” — это, оказывается, “народ”, “страна” или, в наиболее осмысленном варианте, “все здравомыслящие люди”.

Пробегая глазами интернетовские перебранки, я сделал вот какое наблюдение. Когда человек пишет нечто эмоционально нейтральное, он может себе позволить говорить от первого лица единственного числа. Когда же страсти накаляются и оппоненты плавно приступают к ритуальным взаимным поруганиям и не менее ритуальным туманным или явным угрозам, они незаметно переходят на “мы”. “Ждите, мы придем”. “Мы не намерены терпеть”. “Нечего нас учить”. “Вы еще увидите наши танки на ваших улицах”. И то правда — не “мои” же танки, в конце-то концов. Но главное тут не в отдельно взятых “наших танках”. Главное — то, что человек подсознательно избегает персональной ответственности за абсолютно безответственный базар. Одно дело “я вам устрою”, другое — “мы вам устроим”. А я что? А я ничего. Это все “мы”.

Все время получается так, что “мы” — это что-то вроде монолитной массы, весьма напоминающей ту, какую представляет собой ком слегка подтаявших, а потом заново замороженных пельменей.

Чаще всего человек, говорящий от имени бесплотного коллектива, ставит себя вне рамок дискус-

сионного пространства и может общаться (то есть переругиваться) только с другим представителем не менее иллюзорного коллектива.

Я тоже, как и всякий человек, думающий, говорящий и пишущий на родном языке, употребляю иногда это местоимение. Но при этом полагаю своей обязанностью обозначить границы и содержательные координаты своего “мы”. Свободным от этой обязанности я ощущаю себя только в одном случае: если разговор происходит в той среде, которая этим самым “мы” и обозначается, причем без каких бы то ни было уточнений.

Я уже писал что-то вроде того, что в моем понимании “мы” — это не народ, не партия и даже не коллектив того или иного прядильного цеха или наличный состав погранзаставы.

Мое “мы” — это культурная общность, внутри которой нет никакой необходимости всякий раз заново договариваться о том, что смешно, а что нет, что подлю, а что благородно, что уродливо, а что прекрасно. Это неопровержимая убежденность в том, что конкретный человек, его жизнь, его здоровье — физическое и душевное, его свобода и его личное

достоинство неизмеримо важнее, чем государство. Что если интересы государства противоречат интересам человека, то прав, безусловно, человек, а не государство.

Мое “мы” базируется на уверенности в том, что при соприкосновении с властью человек из чувства нравственно-эстетического самосохранения должен придерживаться определенных санитарно-гигиенических норм и правил. Потому что власть (по крайней мере здешняя) заразна. Потому что она “отвратительна, как руки брадобрея”.

Кстати, о цитатах. Различные культурные конвенции наиболее наглядно различимы по тому, кто какими кодами-паролями обменивается. Такими паролями чаще всего служат цитаты. По тому, кто что цитирует и кто на какие цитаты (или квазичитаты) откликается, можно судить о многом. Одни цитируют рекламные телеролики, другие — Пушкина и Гоголя. Одни — реплики персонажей из популярных мультиков, другие — Хармса или Мандельштама.

Существовал еще и особый, довольно специфический цитатный фонд. Это были агитпроповские лозунги или лезшие в глаза и вязнувшие в ушах

и мозгах цитаты из классиков марксизма. Интересно, что этот фонд широко использовался и “нами”, и “ими”. С той, впрочем, существенной разницей, что “они” пользовались этим тотально растражированным наследием совершенно всерьез и, так сказать, напрямую. А “мы” — с иронической дистанцией, позволявшей радикально нейтрализовать и по возможности обезвредить вредоносное воздействие этого мучительного собачьего бреда.

Со смешанным чувством радости и огорчения я вынужден констатировать, что такие кунштюки, как словечко “архиважно”, или “шаг вперед, два шага назад”, или “учение Маркса всеильно, потому что оно верно”, или “из всех искусств для нас важнейшим является кино”, или “где партия, там успех, там победа”, мало о чем говорят новому поколению.

Когда-то, в пору повышенного литературоцентризма, бывало такое, например. Приходит, допустим, в ваш дом малознакомый человек. Ну мало ли по каким делам. Вы провожаете его на кухню (все тогда сидели на кухнях) и почти автоматически произносите: “Мы с тобой на кухне посидим”. А он, этот практически незнакомый тебе человек,

на таком же автомате продолжает: “Сладко пахнет...” И с этого момента вы понимаете, что неформальное общение возможно. А уж если он, угощаясь на вашей кухне чем бог послал, еще и скажет: “Вот какие большие огурцы продаются в наших магазинах”, то уже и до закадычной дружбы рукой подать. Тогда это происходило быстро.

Это, хотя и не так безошибочно, как прежде, срабатывает и теперь. Вот кто-то, например, пробежав глазами газетную заметку, в первой же фразе которой сообщалось о том, что “супертеноры Доминго, Паваротти и Каррерас все никак не соберутся завершить свою карьеру”, и бровью не повел. А у кого-то при чтении этой фразы во всей своей первозданной яркости мгновенно вспыхнули бодрящие ритмы “Песни о Гайавате”, и он разразился счастливым, освобождающим смехом.

Такой же счастливый, но совершенно не понятный кому-либо другому смех обуял одного моего приятеля, когда он ехал в такси и услышал по рации обрывок разговора некоего неведомого и невидимого водителя с не менее невидимым диспетчером. “МКАД забит, — раздался из рации деловитый

голос. — Я съехал на Рублевку”. “Чего это вы смеетесь?” — с некоторой, вполне, впрочем, объяснимой, подозрительностью спросил таксист. Ну что он мог объяснить, мой начитанный приятель? “Так, вспомнилась одна вещь”, — неопределенно ответил он. И, в общем-то, не покривил душой.

Когда он пересказывал НАМ этот эпизод, МЫ очень веселились.

Когда начинается искусство

Нет-нет, я не про “с кем вы, мастера культуры”. И не про “партийность-народность-идейность”. И не про “по какую сторону баррикад”. Еще чего не хватало. Да и нет, по правде сказать, на сегодняшний день никаких баррикад. Разве что виртуальные. Как и нет тех, с “кем” могли бы вступать в счастливое сладострастное слияние-поглощение упомянутые мастера.

Я о другом. Я о личном выборе. Тем более что слово “выбор”, именно так, в единственном числе, становится тем более значительным, чем все в боль-

шей и большей степени выхолащиваются остатки смысла из того же слова, но во множественном числе. “Выборы” не решают ничего. Их просто нет. Есть только выбор. Выбор, требующий не просто ответственности, но еще и поведенческого вкуса, чувства стиля.

Когда Андрей Синявский произнес свою знаменитую формулу о своих “чисто стилистических” расхождениях с советской властью, это высказывание показалось тогда многим чересчур эстетским, чрезмерно снобским, демонстративно легкомысленным, едва ли не эпатажным. Я не исключаю, что некоторый эпатаж с его стороны имел место. Впрочем, мотивации художественного жеста или высказывания очень часто оказываются несоизмеримыми с исторической судьбой самого высказывания.

Эта формула удивительным образом не устарела, лишь с каждой новой эпохой меняются точки ее приложения. Вроде бы и никакой советской власти давно уж нет, а “стилистические расхождения” все больше углубляются, становятся все более очевидными, чтобы не сказать роковыми.

Дело не только в том, что нынешняя политическая и общественная жизнь отличается какими-

ми-то невообразимыми и трудно описываемыми бездарностью и безвкусицей, запредельными даже на фоне той самой советской власти, при которой стилистические дырки заштопывались идеологически выдержанными плакатами и портретами “членов”.

Когда-то считалось и считается, увы, до сих пор, что искусство занимается, так сказать, красотой. Что его задача, условно говоря, радовать глаз и ласкать слух. Но эстетическое и этическое прописаны не по разным адресам. Они, если угодно, не легитимны друг без друга. Именно потому мы испокон веков пользуемся словесной формулой “некрасивый поступок”.

Когда из общественного обихода исчезают такие базовые категории, как достоинство, совесть, сострадание, да просто честность, то тут кончаются почва и судьба, а начинается как раз оно самое, искусство.

Искусство иногда сознательно, а чаще бессознательно берет на себя функции тех органов общественного организма, которые отказываются работать. Художник ощущает свою ответственность чаще всего интуитивно. Это вопрос не личной отваги, а интуи-

ции, личного темперамента и, извините за пафос, профессионального долга. Он, художник, ничего особенного не делает, он просто заполняет содержанием пустующие сосуды.

Потому-то мне сегодня так интересны и кажутся необычайно важными радикальные уличные формы и жанры современного искусства. Оно, это искусство, занято не только тем, от чего устало отвернулось общество. Оно настойчиво и не всегда деликатно ставит перед обществом большие зеркала, от которых не всегда удается отвернуться. Обществу это, как правило, не очень нравится, что и понятно. И поэтому такое искусство не может не третироваться как хулиганское и антиобщественное. Но искусство, извините, по-другому не может. И не должно. Иначе оно перестанет быть искусством, а станет в лучшем случае дизайном, который как раз по части радования глаза и ласкания слуха.

По тем же причинам мне хорошо понятно, почему в последнее время многие художники, литераторы, артисты, музыканты, ранее ничуть не замеченные в повышенной общественной активности,

стали вдруг эту активность проявлять и совершать отчетливые социально значимые жесты.

Мне понятно, отчего это вдруг вполне успешный и прославленный архитектор инициирует протест против массового зачисления своего профессионального союза в какие-то неприличные “фронты”. Мне понятно, почему академический музыкант, дирижер и кабинетный философ публично заявляет о своей общественной позиции, в результате чего лишается дирижерского пульта. И мне хорошо понятно, почему камерный композитор, которому бы только для звуков жизни не щадить, приходит по 31-м числам на Триумфальную площадь, после чего на несколько часов становится опять же камерным композитором, но уже при несколько ином значении слова “камерный”. И мне очень понятно, когда крошечный экспериментальный театр ставит спектакль по материалам дела Магнитского.

Прошу все же понять меня правильно. Я никого никому не ставлю в пример и никого ни к чему не призываю. Степень социальной активности или пассивности артиста (и не только артиста) зависит

лишь от его личного темперамента и, повторяю, личного выбора. Я всего лишь говорю, что очень хорошо понимаю мотивы тех, кто в наши дни ощущает властную необходимость социально значимого протестного жеста.

Но я, признаться, плохо понимаю мотивы любимого кинорежиссера, выступающего на митинге в поддержку Валентины Матвиенко. Нет, ничуть не осуждаю: он как был для меня великим артистом, так и остается. А именно не понимаю. Впрочем, всего умом не понять.

Гражданин-конформист — это неприятно, но это понятно. Нонконформизм всегда в меньшинстве. Художник-конформист — это, в общем-то, катастрофа. Прежде всего для самого художника.

Да, мы все либо преодолеваем множество искушений, либо им поддаемся. Чаще всего и то и другое.

Бывает искушение славой или бесславием. Слава, конечно, вещь для художника немаловажная, что и говорить. Но всегда остается вопрос, какова эта слава.

Бывает искушение деньгами. Да кто же что-нибудь имеет против денег-то! Но всегда надо помнить

о том, что за деньги, конечно, можно купить свободу. Но за деньги же ее можно и продать. И это, увы, происходит, по крайней мере в наших широтах, куда чаще.

Есть искушение страхом. Страхом репрессий, изгнания, нищеты. Да, это серьезная вещь. Героев, сознательно готовых к тюрьме и суме, мало, их единицы. Но бывают случаи, когда брезгливость, презрение, эстетическая непереносимость того, чем ты окружен, оказываются сильнее страха. И ощущение внутренней правоты сильнее страха. И ощущение верности выбранного тобою пути сильнее страха. Да много есть того, что сильнее страха и всех прочих искушений.

Теперь тоже есть страх. Нет, уже не тот. Другой. Страх того, что государство что-нибудь не профинансирует. Что кто-то не даст денег на какой-нибудь фестиваль. Что тебя не позовут на прием в Кремль. Что тебе не дадут народного артиста.

Да много есть всяких коварных опасностей, подстерегающих на каждом шагу тонкого и нервного служителя муз.

Всем, кто еще не совсем подавлен этими крошечными ужасами, хочется все же сказать: “Жизнь коротка, друзья. Потерпите немножко. Не позорьтесь, не надо портить себе некролог. Подвиг от вас никто не требует. Но выбор всегда есть”.

Тревожиться сочинять

Не так давно я участвовал в весьма оживленной журналистской дискуссии. Речь там шла, понятное дело, об особенностях и задачах журналистской профессии в нынешних социально-политических условиях.

Говорилось о разном: о профессиональной чести и о профессиональном достоинстве, каковые в наши дни становятся реликтами и предметами роскоши, о фактическом умирании политической журналистики в ее строгом понимании за практически полным исчезновением самого объекта таковой журналистики, то есть самой политики — в опять же

строгом, цивилизованном понимании этого слова. Ну и о многом еще.

Когда дошла очередь до меня, я, начав с того, что журналистом себя ни в каком смысле, кроме формального, не считаю, заговорил, естественно, о факторе языка, каковой фактор считаю важнейшим не только для журналистской профессии, но и для описания и диагностирования общественной жизни вообще. Говорил я, в частности, и о том, что мы переживаем странную и плохо еще осознанную ситуацию, при которой семантические колебания слов и понятий, в том числе и вполне привычных, дошли до полной расшатанности. Что слова и понятия различными стратами общества воспринимаются не только по-разному, но иногда и прямо противоположным образом. Ну и так далее.

Вслед за мной выступил мой уважаемый коллега, очень известный и очень качественный, на мой взгляд, журналист. Подхватив заданную мною тему языка, он начал с рассказа о том, как совсем недавно вступил в острый виртуальный спор с неким журналистом, давним своим знакомым. Когда-то они были близкими друзьями и полными единомышленни-

ками, но их взгляды и принципы за последние годы существенно разошлись. В пылу темпераментного спора они обменялись парой-тройкой не слишком парламентских выражений. В частности, рассказчик в полемическом задоре назвал своего адресата коллаборационистом, на что тот страшно обиделся.

Это он рассказал к тому, что не пора ли, мол, перестать стесняться точных и сильных слов и характеристик, каковые, казалось бы, были доведены по полной бессмыслицы трескучей журналистской риторикой советского периода. Да, “коллаборационизм”. Да, “империализм”. Да, “милитаризм”. Да, надо называть их же самих словами из их же протухшего словаря. Да, надо называть вещи своими именами. Пусть, типа, знают, кто они такие есть.

Дискуссия волей ведущего была вскорости свернута. А жаль: мне было что возразить уважаемому коллеге. Дорогой коллега, сказал бы я ему, то, что твой адресат обиделся на “коллаборациониста”, — это очень хорошо. Это означает как минимум, что он так же, как и ты, убежден в том, что быть коллаборационистом — плохо, стыдно и недостойно. А значит,

с ним, с этим человеком, имеет смысл продолжать разговор.

Хуже другое: те, кого ты, дорогой коллега, предлагаешь клеймить и пригвозждать сильными словами, в этих сильных словах не видят ровным счетом ничего постыдного. “Ну да, — скажет такой, — я коллаборационист. Потому что я люблю и уважаю нашу власть и считаю священным долгом гражданина с ней всячески сотрудничать”. “Ну да, — скажет другой, — я империалист. Потому что я мечтаю о возрождении великой империи, а ее разрушение считаю величайшей геополитической катастрофой”. “Ну да, — скажет третий, — я милитарист, потому что уверен в том, что страна должна быть сильной и вооруженной, чтобы не зависеть от диктата мировой закулисы”.

Бесполезно, коллега. Потому что “сильные слова” теряют не только смыслы, но и, что важнее и страшнее, свою убийственную энергию. Из них выветрилось не только смысловое содержание, но и нравственное. Из них выкачан воздух. Они разрежены и разряжены. И никого ни к чему они не пригвоздят.

Не это ли причина того, что нынешняя власть слабо реагирует на слова? Она как бы терпима к словам и текстам вовсе не потому, что она такая добрая и толерантная, а потому что слова для нее ничего не значат. Ну “жулики и воры”. И что? А ничего.

И это принципиально новая ситуация для страны, устойчивой традицией которой во все времена было именно самое равнодушное отношение к слову. Во все времена за слова преследовали и награждали. А теперь и преследуют, и награждают совсем за другое. А если за это, то исключительно по инерции.

“Зачем же вам тревожиться сочинять?” — можно в таком случае воскликнуть словами тетушки из булгаковского “Театрального романа”. У меня, если честно, нет на это ясного ответа. В рамках той же дискуссии кто-то сказал: “Да, профессия исчезает из общественной жизни. Но мы пишем и будем писать, чтобы просто сохранить саму профессию”. “Мы пишем, чтобы не разучиться писать”, — мрачновато подхватил другой. Я с этим вполне согласился, добавив при этом: “Для тех, кто еще не разучился читать”. Не такая уж ничтожная задача, по-моему.

Изделие номер два

Может показаться тривиальным, если я скажу, что резина является одной из наиболее метафороемких субстанций. Соперничать с ней в этом смысле может лишь другая субстанция — ну, в общем, понятно какая.

Но мы все же о резине. Некоторые ее свойства, такие, например, как пластичность, упругость и растяжимость, давно и прочно служат обозначением для личностных свойств или типов социального поведения. Мне рассказывал знакомый, как он спросил однажды у одного из одиознейших кремлев-

ских персонажей, которого когда-то неплохо знал: “Скажи, как же это получается, что еще год назад ты говорил одно, а теперь столь же убежденно говоришь прямо противоположное?” Тот самым нежным образом приобнял моего знакомого за талию, посмотрел прямо в глаза искреннейшим взором и проникновенно произнес: “Ты знаешь, я раньше и сам не знал, насколько гибок может быть человек”. Резина, в общем.

Или часто говорится что-то вроде того, что Москва, мол, не резиновая. Говорится часто и упорно. Хотя исторический опыт настойчиво убеждает нас в том, что именно она резиновая и есть. Ладно Москва. Однажды, еще в советские времена, мне пришлось присутствовать при разговоре двух литераторов. Одного из них недавно приняли в Союз писателей, и он буквально сочился неофитским ощущением собственной значительности. Второго, как было понятно из того же разговора, туда как раз не приняли, и он многословно и довольно нудно жаловался на такую вопиющую несправедливость. В какой-то момент новоиспеченный член назидательно произнес: “Ну, старичок, сам должен пони-

мать — литература же не резиновая!” Я долго после этого при каждом подходящем или неподходящем случае использовал эту железную (а вовсе не резиновую) формулу: “Литература не резиновая”. Хотя, если вдуматься, какая же она еще. По крайней мере советская литература.

Кроме резины как субстанции существуют еще и так называемые резиновые изделия, названия которых, особенно просторечные, также часто служат для обозначения тех или иных носителей тех или иных человеческих качеств. Особенно среди них выделяется одно. И это не галоши, не ластик и даже не резинка от трусов. На аскетичном, стыдливом и конспиративном советском языке оно называлось “изделием № 2”. Меня, кстати, долгие годы занимал вопрос, какое же из изделий носило первый номер. Сравнительно недавно я узнал, что это противогаз. Впрочем, по силе и убедительности не только практического, но и символического наполнения “первое” изделие всегда сильно уступало “второму”, занявшему в народном сознании безусловно лидирующее место.

Несмотря на вполне определенную утилитарную роль, предмет этот при желании мог наделяться

и дополнительными функциями. Я, например, видел однажды, как мальчик лет девяти стоял на берегу Яузы и с помощью прутика имитировал рыбную ловлю. Когда я подошел поближе, я убедился, что он вовсе и не имитировал. Это и была ловля. Хотя и не рыбная. Небольшая, но вполне убедительная горка из упомянутых изделий, расположившаяся около него, явно указывала на вполне конкретный объект ловли. Но это случай особый и вполне маргинальный.

А вот о том, что этот предмет можно надувать до известных размеров, известно более или менее всем. Причем надувать не только в буквальном, но и в метафорическом смысле. Например, головокружительная карьера человека, называющего себя президентом России, есть нагляднейшее доказательство того, что при сильном желании, подкрепленном простенькой, но напористой пропагандой, а также армией, флотом, секретной полицией и свалившимися прямо в руки убедительными ценами на жидкое и газообразное топливо, можно достичь многого. Например, надуть небольшой и малозаметный предмет до размеров президента огромной страны. В свое

время этот головокружительный цирковой номер так заморозил охочее до детских радостей российское население, что оно на сколько-то лет застыло в неловком оцепенении, а некоторых этот фокус заморозил до такой степени, что кое-кто даже всерьез поверил в то, что это самое изделие и есть президент.

В наши дни под неумолимым воздействием физических и общественных законов упомянутое изделие стало стремительно сдуваться, прямо на глазах обретая первоначальные размеры и очертания.

Как свидетельствует житейский опыт многих поколений, попытки заново надуть пресловутый объект (а именно такие отчаянные попытки мы и наблюдаем в наши дни) особым успехом, как правило, не увенчиваются: все те, кто в детстве пытался надуть эту штуку дважды, знают, что в таких случаях шарик номер два либо практически немедленно сдувается, либо лопается с неприличным физиологическим звуком.

Так что стоит ли особенно изумляться тому, что нынешний президент, который тогда еще был лишь кандидатом, сравнил однажды белые ленточки, стихийно ставшие символом общественного протеста,

с этими самыми предметами? Тут и тень венского доктора незачем лишний раз тормозить. Как-то все и так понятно. Резина — она и есть резина. Ей, резине, принявшей человеческий облик, свойственна не только способность надуваться, сдуваться и гнуться. Она еще и не в состоянии допустить, что существуют в мире предметы, явления, люди, сделанные из каких-либо иных материалов.

Вовсе не ерунда

Начну я с одного маленького эпизода из жизни, а закончу другим.

Первый такой. Однажды я провел вечер в большой компании, где среди прочих оказался и некий религиозный еврей — во всяком случае, именно так он себя позиционировал и вообще был в кипе. Он много, увлеченно и довольно интересно рассказывал о поведенческих правилах и запретах, особенно касающихся субботы. А дело происходило в пятницу вечером, то есть как раз как бы в субботу. В какой-то момент я заметил, что человек этот взял сигарету, чиркнул зажигал-

кой и, не прерывая своей маленькой лекции, невозмутимо закурил. Решив его дружески подколоть, я спросил: “А вы-то сами не соблюдаете, что ли, этих правил?” На что он назидательно поднял указательный палец вверх и убежденно произнес: “Я соблюдаю. Но я нарушаю”.

Я и сам стараюсь формулировать мысль как можно точнее. А потому такую точность высоко ценю и у других.

Но в данном случае я о другом.

Вообще-то эта тема неисчерпаема, как атом.

Можно, например, поговорить о том, что заветное наречие внутри языка, именуемое в быту матерным, уже много веков служит полигоном для демонстрации неисчерпаемости русского словообразования. Что с помощью всего лишь трех корней искушенный в этом деле человек способен сформулировать любую мысль, обозначить любой предмет, любое действие, любое явление и любое состояние тела и души.

Можно поговорить о том, что бывают случаи, когда человек, даже и обладающий всеми лексическими богатствами родного языка, не может

выразить нечто никаким иным способом, кроме как... ну понятно. Вот, например, совсем недавно одного публичного человека потянули на цугундер на целых пару недель, инкриминируя ему в том числе и публичное сквернословие, выразившееся в том, что он вслух и при всех назвал некую группу лиц “при исполнении” мудаками. Слово “мудак” действительно считается официально табуируемым. И действительно за “мудака” вроде как надо отвечать. Как за “козла” и за “хорькабля”. Но как быть, если человеку, стремящемуся наиболее точно и корректно выразить свою мысль или дать наиболее точное определение тому или иному явлению, свойственно искать и находить наиболее адекватные слова и выражения? И если вы, читатель, знаете иной способ обозначить мудака, кроме как назвать его именно мудаком, то я могу только порадоваться за вас. Но я уверен, что мудака ничем, кроме как мудаком, назвать невозможно без потери смысла. А смысл — это самое главное.

Можно поговорить о том, что существуют люди, в том числе и самого благонамеренного направления мыслей, всерьез убежденные, что словарь нацио-

нального языка делится на “хорошие” и “плохие” слова и что “хорошие слова” выражают хорошие мысли, а “плохие” — соответственно. А еще есть люди, уверенные, что культурный уровень человека определяется его персональным словарем. С этим в значительной степени нельзя не согласиться, если бы ревнители “культурности” не были бы склонны подходить к проблеме столь механистично и не полагали бы, что слово, допустим, “вдохновение” само по себе культурнее, чем слово, допустим, “жопа”. В то время как культурность заключается совсем в другом, а именно в ясном осознании уместности или неуместности употребления тех или иных слов в те или иные моменты и в тех или иных культурных контекстах.

Впрочем, к тем, для кого выражения типа “я в шоке” или “он предложил мне секс” представляются более культурными, чем иные выражения, куда энергичнее и точнее означающие соответствующие поступки или состояния, я не адресуюсь. Бог с ними.

Но любой хоть сколько-нибудь филологически искушенный человек знает, что хороших и плохих

слов не бывает самих по себе. Что хорошими или плохими они становятся только в контексте высказывания и полностью зависят от мотивации их употребления, от их порядка, от интонации фразы в целом и, главное, от намерения говорящего или пишущего.

В бытовой речи существует такая устойчивая формула, как “ругаться матом”. Но ругаются далеко не только матом, а матом далеко не всегда ругаются.

Можно поговорить о том, что человеку, знакомому с этим заветным и в общем-то прекрасным в умелых руках пластом русской речи, трудно объяснить, почему столь смешна роковая опечатка в машинописной характеристике, выданной некоей комсомолке с места работы. В этой характеристике, подписанной пресловутым “треугольником”, в частности, сообщалось, что она, характеризуемая комсомолка, “успешно сочетает работу с учебой”. Все бы ничего, если в слове “учеба” не была бы пропущена буква “ч”. Комический эффект существенно усиливался тем широкоизвестным обстоятельством, что это самое “успешное сочетание” — именно без “ч” — вполне соответствовало реальному положению дел.

Можно поговорить о том, что заведомая, непроходимая непристойность того или иного высказывания обеспечивается чаще всего не с помощью табуированных слов, а как раз посредством слов из “возвышенного” словарного репертуара. Что может быть кошмарнее таких, например, образцов рекламы соответствующих услуг, от нечего делать сочиненных мною и моим другом во время долгого полета из Москвы в Иркутск. “Утоли вкус страсти”, — написал он в моем блокноте и показал мне. По достоинству оценив его креативность, я предложил и свой вариант: “Элитные киски для романтиков со средствами”. Полет пролетел не зря и, главное, быстрее, чем ожидалось.

Культурные иерархии существуют вовсе не для того, чтобы слепо им подчиняться. Они существуют для того, чтобы их нарушать. Или хотя бы колебать, расшатывать, подвергать сомнению их незыблемость. Искусство именно этим, в частности, и занимается. Но такие иерархии надо знать, иметь их в виду, учитывать.

Культурно вмняемый человек обязательно нарушает речевые табу. А человек, так сказать, культурно девственный просто разговаривает именно таким

образом безо всякого представления о самом существовании этих самых табу. Вроде лунатика, который безмятежно расхаживает в кромешной темноте по краю крыши вовсе не потому, что он такой отважный, а всего лишь потому, что он не знает о том, что ходит по краю крыши.

Если же меня спросят, являюсь ли я противником жесткого табуирования всего этого дела, то я убежденно скажу, что нет, ни в коем случае. Этот прекрасный и яростный язык непременно должен оставаться табуированным, причем самым решительным образом и как можно дольше. Иначе безвозвратно потускнеет вся его прелесть, вся соблазнительность и все то, что маркирует зону свободы. И что мы тогда станем **СОБЛЮДАТЬ?** И что **НАРУШАТЬ?**

А то, что употребляемая взрослыми обценная лексика якобы непременно пагубно влияет на последующее речевое поведение детей, то на этот счет у меня есть и вторая обещанная история, маленький, но очень, по-моему, яркий эпизод, которым я и закончу и все выводы из которого я предоставляю сделать любезному читателю.

Эту сцену я наблюдал сам. Одна молодая мамаша, девушка вполне интеллигентная и в целом привыкшая “фильтровать базар” в присутствии своей четырехлетней дочки, однажды, устав от неостановимой болтовни своего не по возрасту развитого ребенка, в сердцах воскликнула: “Слушай, перестань уже нести свою херню!” И тут же в ужасе прикусила язык в надежде, что ее реплика проскользнула мимо бдительных ушей ребенка. Не тут-то было. Девочка подняла на маму свои невинные, внимательные, вдумчивые глаза и рассудительно сказала: “Нет, мама, это вовсе не ЕРУНДА”.

Моя жизнь в искусстве

Всю свою более или менее сознательную жизнь я дружил с художниками. Так получилось. Обстоятельства почти всех художественных знакомств были в общем-то вполне стандартными. Кто-нибудь из друзей-художников приводит тебя в мастерскую другого художника, своего друга, посмотреть работы и познакомиться. Иногда знакомства плавно перетекали в приятельства, а то и в дружбы, которые счастливо продолжают и по сей день.

Но бывали и более экзотические обстоятельства знакомств. Вот, например.

В мастерской одного из моих друзей-художников было большое застолье. Повода не помню — кажется, чей-то день рождения. Впрочем, в те времена поводы для застолий не очень-то нуждались во внешних обоснованиях. Нет, вру, вспомнил! Была встреча Старого Нового года.

За столом среди прочих — знакомых и не очень — людей сидел и художник М., ныне вполне известный, а тогда известный лишь в узких кругах, но по крайней мере известный настолько, что мне его имя в то время было уже знакомо. В какой-то момент я заметил, что художник М. с каким-то не вполне понятным интересом разглядывает меня. Причем разглядывает пристально. И не просто разглядывает, а как бы глазами измеряет параметры моего не слишком крупного корпуса. “В чем дело? — думаю я. — Уж не из этих ли он самых.. как бы это пополицоректнее сказать..” Впрочем, слова “политкорректность” тогда еще не существовало в нашем обиходе, так что простите за анахронизм.

А он тем временем все смотрел и смотрел. Все мерил и мерил. Вдоль и поперек. В какой-то момент я не выдержал и спросил: “Простите, у меня сло-

жилось впечатление, может быть и ложное, что вы измеряете мои габариты. Вы не гробовщик случайно?” Другие свои подозрения я по понятным причинам озвучивать не стал. “Вы даже не подозреваете, — сказал он и рассмеялся, — насколько вы близки к истине”. И он, предварительно извинившись за некоторую бесцеремонность своего поведения, объяснил, в чем тут дело.

“Дело в том, — сказал М., — что я хочу попросить вашего согласия на то, чтобы я сделал с вас гипсовый слепок”. “Час от часу не легче!” — подумал я и, не теряя похоронной нити, поинтересовался: “Посмертную маску, что ли, снять хотите?” “Да вот еще! Ваше лицо меня совсем не интересует”. Прозвучало это несколько обидно, но зато честно.

“Мне, — говорит он, — очень подходит ваше тело”. “Спасибо, — говорю, — но мне и самому оно подходит”. В общем, диалог наш принял отчетливые черты черноватого абсурда. Но он все же разъяснил, что к чему, хотя я и не могу сказать, что это “что к чему” внесло ясную гармонию и тихую безмятежность в мою мятущуюся душу.

Оказалось, что художник М. в настоящий момент по заказу одного из столичных театров делает сценографию для спектакля “Преступление и наказание”. “А я-то тут при чем? И гипсовые слепки...” — “Да подождите же!” — слегка уже раздраженно говорит М. и продолжает: “У меня там на авансцене все время действия должен лежать труп старушки, накрытый грудой окровавленных газет. А рядом — топор. Понятно?” “Нет”, — честно говорю я. — “Ну как же непонятно? Вы мне по своим размерам идеально подходите для трупа. Ну, в смысле, для трупа старушки. Гипсового”. — “А голова? Лицо?” — “Да какое лицо! Все же под газетами. Какая голова! Вы что, не читали?” — “Да нет, вроде читал”. — “Ну и что скажете?”

Я отказался, конечно же.

Почему? Из суеверия ли? Из боязни ли щекотки, неизбежной при обмазывании твоего тела мокрым холодным гипсом? Или так, вообще? Но отказался.

Он, кажется, не очень на меня обиделся, вполне осознавая некоторую, скажем так, нетривиальность своего предложения. “Да ладно, — сказал он, — я, честно говоря, и не ждал, что вы согласи-

тесь. А не знаете кого-нибудь вроде вас, кто согласился бы?” Никого вроде себя я не знал.

Не знаю, как дальше складывались его поиски, но то, что на премьере спектакля лежал-таки на авансцене гипсовый труп “вроде меня”, — это факт.

“Мне, кстати, очень нравится, что вы пишете”, — сказал он мне в завершение нашего довольно-таки мучительного разговора. “Мог бы с этого и начать”, — ворчливо подумал, но не сказал я.

Так не состоялась моя обещавшая стать ослепительной карьера в великом искусстве сценографии. Но так состоялось доброе и долгое приятельство с хорошим художником и очаровательным человеком.

Но, когда я однажды напомнил ему об обстоятельствах нашего знакомства, он уверенно заявил, что ничего такого не помнит и что этого вообще не было и быть не могло. Здравсте, не могло! Но ведь было же!

Я-то уверен, что сама по себе эта нехитрая, но милая история вполне самоценна и вполне заслуживает той беллетризации, на какую способен автор. Но бывают, я знаю, суровые читатели, требующие морали и серьезных жизненных или — пуще того —

общественных выводов. Бывают серьезные ребята, постоянно — по бессмертной формуле Зощенко — вопрошающие “что хотел сказать автор своим произведением”.

Ну и пусть вопрошают. В крайнем случае мы ответим им словами из известного анекдота про доктора Фрейда и его дочь: “Бывают, доченька, случаи, когда приснившийся банан означает всего лишь банан”.

Сезонная лирика

Ну и о поэзии все-таки надо когда-нибудь уже поговорить. Не все же только о суете и прозе нашей жизни. Не все же о грязных сугробах, о ледяных тротуарах, об укусно-кислой городской и общественной атмосфере или о том, чье металлическое, с привкусом ржавчины имя не может не вспомниться в первых числах марта. А если не вспомнишь сам, то тебе непременно его напомнят.

А мне вот захотелось о другом. Совсем о другом. О том, например, как именно 5 марта 198^{2*} года (число понятно почему запомнилось, а год — лишь

приблизительно) я посетил квартирное чтение поэта К., куда меня пригласили хозяева дома, милейшие П. и М.

О поэте К. и его поэтическом творчестве я уже имел некоторое представление. Из нескольких прочитанных мною его стихотворений я знал, что К. является носителем и выразителем некоторого набора очень правильных, бесспорно благородных идей и мыслей, выраженных регулярным метром, украшенным довольно точной рифмовкой. Одним словом, никаких искрометностей я не ждал, но не мог отказать симпатичнейшим и бескорыстно энтузиастическим хозяевам дома.

В общем, я пошел.

Усадили меня довольно далеко от дверей, между подоконником и столиком с аквариумом. Об этих деталях я упоминаю не просто так, ради красного художественного словца, они, вроде как чеховское ружье, чуть позже непременно выстрелят, хотя и не залпом, а поочередно. Имейте терпение.

Все расселись, поэт достал из портфеля много бумажек и принялся читать их вслух. Я, повторяю, и без того не ждал от этого чтения ничего особо

духоподъемного, но действительность, как говорится, превзошла. Читал он мерно, чтобы не сказать монотонно, безнадежно тоскливо, с виноватыми почему-то интонациями подростка, застуканного завучем в процессе курения в уборной.

Кстати, о курении. Мне с первых же тактов мучительно захотелось курить. А это с давних пор служит для меня безошибочным критерием в художественной оценке концерта, спектакля, кинофильма, литературного чтения. Но сидел я, как было сказано, далеко от дверей, поэтому о выйти покурить и речи быть не могло.

Я страдал.

Вначале я пытался развлечься собственно поэзией. Когда прозвучали строчки “И ты тогда сказала мне, что в этом мире мы одни”, я стал думать, сообщить или не сообщить автору после чтения или, еще лучше, в перерыве, который, к моей радости, все же был торжественно обещан, но не исполнен, что если ему угодно щегольнуть дореволюционной грамотностью, то не мешало бы знать, что “одне” — это, вообще-то говоря, множественное число женского рода. И что по этой причине лирический герой сти-

хотворения выходит вроде как женщиной, то есть является не героем, а героиней. Что входит в явное противоречие с соседствующими строками того же стихотворения, где он выступает в роли все же мужчины. По крайней мере в грамматическом смысле: “А я тогда сказал тебе, что та-та-та-та-та (не помню) судьбе”. Решил я все же ничего ему не говорить. Зачем обижать человека? Но недолго пришлось мне забавляться непредусмотренной автором андрогинностью его лирического героя. Дальше опять пошло все грамматически дистиллированно, а поэтому окончательно скучно.

И я страдал. Недолго, впрочем. Сидел я, как было сказано, около окна. Квартира находилась на первом этаже. Форточка была раскрыта. Окно выходило во двор. А во дворе располагался склад винного магазина. В какой-то момент прозвучал спасительный звук автомобильного мотора, и во двор въехал грузовик с товаром. Двое бодрых рабочих принялись разгружать ящики с вином, и я некоторое время вдыхал воздух самой жизни, которая, по словам Хармса, всегда побеждает смерть неизвестным науке способом. Жесткий, мужественный ритм,

с каким разгружаемые ящики плюхались на землю, счастливым образом совпадал с ритмом поэтических строк, а сопутствующие речи грузчиков, своей лексикой и фразеологией резко контрастировавшие с тем, что звучало из уст вдохновенного стихотворца, произносившего что-то об “осиных талиях бокалов”, напоминали о том, что есть еще на свете и что-то живое. Но и это счастье прошло, как с белых яблонь дым, а поэт все читал и читал. Время от времени он, подлец, спрашивал со специальной улыбкой: “Вы не очень устали?” — и, не дождавшись ответа, продолжал.

Ну что тут делать? Делать нечего. И я направил свое внимание на аквариум с рыбками. Видимо, зря я не сделал этого раньше, ибо происходившее в аквариуме впечатляло своим нешуточным драматизмом. Среди трех-четырех рыбок, явно глухих к поэтическому искусству и поэтому лениво и неритмично бороздивших не слишком бескрайние просторы аквариума, была одна, резко выделявшаяся среди товарок явно нестандартным поведением. Она буквально металась, как какая-нибудь Катерина из “Грозы”, ударяясь время от времени о стеклян-

ные стенки, и не находила себе покоя. Я стал следить за ней, мучаясь от невозможности чем-нибудь ей помочь. Неужели на нее так действуют стихи поэта К., глупо размышлял я, а она металась в тихих водах аквариума все яростнее и самозабвеннее. Когда же поэт произнес золотые слова “ну и последнее”, рыбка разогналась изо всех сил и в пароксизме вселенского отчаяния со всего маху треснулась буйной головой об стенку. После этого ее бездыханное тельце медленно и печально развернулось животиком вверх и стало торжественно, как флаг, вздыматься вверх, достигнув поверхности ровно в тот момент, когда поэт закончил-таки читать стихи.

Все, кроме несчастной, не в меру чувствительной рыбки, остались живы, и в целом, опять же не считая этой невинной жертвы, о которой я не стал сообщать хозяевам (зачем их расстраивать до поры до времени, сами пусть увидят), все закончилось благополучно.

Из последних сил симулируя искренность, я поздравил поэта с заслуженным успехом. А потом все-таки не удержался и сказал ему про “одне”. Он слегка надулся и принялся спорить. Я, и без того чувствуя себя виноватым в мелочности и невоздер-

жанности и досадуя, что вообще завел этот разговор, не стал сильно настаивать на своей правоте.

А день этот мне запомнился во всех деталях. Спасибо товарищу С., благодаря которому я запомнил дату, счастливо совпавшую с датой его безвременной кончины. Спасибо поэту К., так и не сумевшему истребить до конца моей любви к поэзии, милейшим хозяевам дома П. и М., усадившим меня между подоконником и аквариумом, бодрым грузчиком винного магазина — носителям живого великорусского языка. Отдельное спасибо безымянной аквариумной рыбке, чья безграничная и в буквальном смысле жертвенная любовь к поэтическому слову навсегда пребудет мне укором и уроком. Спасибо также терпеливому и благосклонному читателю, который не станет ворчать и сетовать на легкомысленность и общественную малозначимость этого текста. Спасибо всем.

Вязкая вязь

Читаю в новостях: “По прогнозам скептиков, днем в Москве и Подмоскowie воздух ожидается до 4 градусов мороза”. И думаю: “То, что “воздух ожидается”, это ладно, это в новостных лентах бывает сплошь и рядом. А скептики-то тут чего делают? И если скептики обещают такое, что же в таком случае обещали оптимисты?” Во втором чтении скептики, разумеется, оказались синоптиками, хотя первый вариант все равно показался мне куда более контекстуально оправданным, если учитывать мое устойчиво неприязненное отношение к разным минусовым градусам.

Чем больше минус, тем и ненависти больше. А ненависть ослепляет.

А потому и очитки у каждого свои. Впрочем, это замечено давно.

Ну и с опечатками то же самое. Вот, например, знакомый журналист, пишущий на армейские темы, показал мне однажды свою коллекционную гордость — номер какого-то военного журнала, название которого (не помню какое, ну, допустим, “Русский витязь”) было набрано славянской вязью, да и общая направленность этого журнала этой самой вязи более чем соответствовала. Так вот, на первой же странице номера редакция горячо поздравила своих читателей с праздником “Святой Торицы”. Эта “Торица” тоже была набрана кучерявой вязью. Ну, тут все понятно — вечный покой венского мудреца можно не тревожить.

Почему-то эта стилизованная вязь воспринимается многими как несомненный признак чего-то глубоко русского. В то время как она имеет точно такое же импортное происхождение, как и все прочие кириллические шрифты. Нацисты, к слову сказать, обожали старинный готический шрифт, причем

обожали столь страстно, что в современной Германии этот шрифт до сих пор вызывает довольно злое ассоциации. Но это так, к слову.

А я вспоминаю, как много лет тому назад присутствовал на каком-то большом и бестолковом застолье. Это была чья-то свадьба, а такой жанр предполагает повышенную разношерстность и непредсказуемость сидящей за столом публики. Среди пирующих был молодой симпатичный болгарин — однокурсник жениха. В какой-то момент к нему подсел неизбежный провинциальный родственник, которого “неудобно не позвать”. Родственник налил себе и болгарину и энергично принялся осуществлять дружбу братских народов за одним отдельно взятым столом. “Мы ведь братья! — проникновенно восклицал он. — Славяне!” Болгарин вежливо соглашался. Да и как попрешь против очевидных фактов. “У нас много общего, — продолжал дружить родственник. — У вас даже наши русские буквы”.

Тут тихий интеллигентный болгарин, до этого согласно кивавший головой, вдруг поднял брови, раздул ноздри и почти закричал: “Что-о-о?! У кого чьи буквы?” Пьяноватый, но миролюбивый род-

ственник стусебался и в целях избежания международного конфликта промямлил что-то про то, что в Болгарии хорошие сигареты, в доказательство чего вынул из кармана пачку “BT”.

Славянскую вязь, причем золоченую, я увидел прошедшим летом на груди крупного белобрысого мужика, сидевшего напротив меня в пригородной электричке. Этой вязью на его черной футболке было выведено: “Я русский”.

Интерпретационное пространство этого сообщения показалось мне довольно обширным. С одной стороны, провозглашение собственной русскости в столице Российского государства гораздо менее информативно, чем, например, в джунглях бассейна Амазонки. То есть даже не “менее информативно”, а просто лишено какого бы то ни было информационного наполнения, потому что довольно трудно себе представить, чтобы этого человека кто-нибудь принял за, допустим, китайца или даже итальянца.

Манифестация своей принадлежности к большинству не слишком информативна. К меньшинству — да, весьма. В 30–40-е годы прошедшего века некоторые жители некоторых европейских госу-

дарств носили на груди шестиконечные звездочки желтого цвета. Делали они это не вполне добровольно, но это было очень даже информативно. До боли, как говорится.

Это если рассуждать в категориях теории информации. В данном же историко-географическом контексте эта надпись несла какой-то иной, как говорят некоторые литературные критики, посыл. А вот какой именно? Гордость? Самоуничтожение? Предупреждение? Скрытую угрозу?

Последнее не исключено, если учесть, что сидевший рядом со мной худощавый дядька среднеазиатской наружности с большим полосатым мешком в ногах довольно нервно ерзал и делал вид, что заинтересованно смотрит в окно, за которым буквально ничего интересного не происходило.

Или этот “Я русский” нацепил на себя эту майку просто так? Взял и надел что нашел в шкафу. Мало ли что бывает написано на наших футболках, сумках или штанах. Мне, например, недавно подарили футболку с надписью *Texas*. Я и ношу ее иногда, ничуть не смущаясь тем, что в этом штате я никогда даже и не бывал. Всякое может быть.

Размышляя обо всем этом, я не мог не вспомнить о знакомом своего знакомого — носителе ярко выраженной семитской внешности, весело сочетавшейся с удивительной фамилией Ярусский. Произносилась эта фамилия с ударением на первом слоге, но в написанном виде она воспринималась точно так же, как на футболке моего попутчика, хотя, насколько мне известно, никогда не писалась славянской вязью. И уж точно не золотом. В общем, опять “Святая Торица”.

Но куда же это нас занесло? Очитки, описки, славянская вязь, летняя электричка.. Я-то всего лишь хотел посетовать на то, что зима никак не заканчивается, а хочется уже весны. Ужас как хочется. А у скептиков-синоптиков всего лишь “ожидается воздух”. Ну да, ожидается. Как же без него, без воздуха.

Секреты и секретки

Ведь что, казалось бы, требуется от художника? Не так уж много, в сущности: обнаружить некую общность в ряду разнородных, а то и разноприродных, на неискушенный взгляд, явлений, выстроить их по ранжиру, без его художнического вмешательства ничуть не очевидному, повязать их как можно более убедительными ритмом и интонацией, нанизать их на как минимум одну сквозную идею. Ерунда на самом деле. Казалось бы.

Нет, правда, как прикажете справляться с неуправляемым потоком мимолетных впечатлений,

случайных воспоминаний и разрозненных медиа-новостей? Как побороть соблазн успокоительной безоговорочной капитуляции перед все более очевидным и все нарастающим хаосом?

Да все просто на самом деле. То есть не просто, конечно, но понятно: в шуме и скрежете постараться уловить ритм и порядок. Они всегда там есть. Надо лишь прислушаться и взглядеться.

Иногда искусство не требует “руки художника”. Оно требует лишь его взгляда — пристального и заинтересованного.

Время от времени тебя настигают бесконечно интригующие сообщения, пришедшие прямо из черных глубин Великого Хаоса, загадочные, как дзен-буддистские коаны, речевые жесты, как бы лишенные всего — сколько-нибудь внятного содержания, хоть каких-нибудь причинно-следственных связей, хотя бы приблизительной мотивации.

В детстве и, признаться, до сих пор мне всегда казались таинственными и непостижимыми те заветные пространства, что располагаются за плотно закрытыми дубовыми дверьми в вестибюлях метро. Мое воображение всегда рисовало там что-то столь же

привлекательное, сколь и начисто лишенное конкретного образа. И вот совсем на днях на одной из таких дверей я обнаружил надпись, не столько утоляющую мое давнишнее любопытство, сколько мучительно его усугубляющую. Там было написано, причем огромными буквами: “Порошок не входи”.

Именно так, без знаков препинания. Впрочем, наличие пунктуации, указывающей на то, например, что надпись эта обращена непосредственно к “порошку”, или же на то, что таким образом легкомысленного путника предостерегают от вхождения в дверь, за которой притаился хищный и злобный “порошок”, едва ли утешило бы меня в этой вполне безвыходной семиотической ситуации.

Ладно “порошок”! “Порошок” — это что! Одна моя знакомая, изучавшая в университете социологию и проходившая практику на каком-то заводе, увидела там призыв, точнее, директиву, обращенную неизвестно к кому. (То есть кому-то, скорее всего, это все-таки было известно.) На жестяном плакате добротным фабричным способом было строго и определенно сказано: “Используй 30 см”. И три восклицательных знака в конце. Будучи юной интел-

лигентной барышней строгих правил, спросить, что бы это значило, она постеснялась. Так до сих пор и не знает.

А с месяц примерно назад на глухом бетонном заборе недалеко от моего дома я увидел и даже сфотографировал чудесную темпераментную, но опять же совсем непонятную надпись, произведенную красной масляной краской. “Я ебал ваши ценности!” — гордо сообщил то ли городу, то ли миру, то ли братьям и сестрам, то ли родителям и учителям, то ли партии “Единая Россия”, то ли агрессивному блоку НАТО, то ли церкви, то ли фундаментальной науке, то ли всем сразу неведомый и невидимый миру бунтарь-одиночка.

Наверняка существуют рациональные и будничные разгадки для этих и всех прочих счастливых, праздничных находок. Наверняка есть кто-то, кому под силу вернуть все это в скучный рутинный контекст. Хорошо, наверное, быть инсайдером и не мучиться проклятыми вопросами относительно того, что за такой порошок, какие такие зосм, кто именно и с чьими конкретно ценностями поступает таким вот радикальным образом.

Но, лишённые контекстуальных подпорок, эти дивные конструкции висят в понятийном воздухе, как улыбка пресловутого Чеширского кота, неизбежно и непрошено становясь фактами искусства.

Пространство искусства, границы которого поистине неопределимы, — это, если угодно, ещё и приют для потерявших своих мам и пап словечек, фразочек, обрывочков, вещичек, камешков и бумажек.

Ребенок, сооружающий в заповедном, заросшем лопухами и крапивой углу дачного участка “секретик” со стеклышком, под которым надёжно укрыты от забвения стеклянная бусинка, любовно разглаженный квадратик шоколадной фольги, найденный под крыльцом шахматный конь, беззубый бабушкин гребешок и ручка от разбитой чашки, — это бессознательный, но несомненный художник, спасающий души бесприютных вещей, наделяющий их статусом знаков, ищущих и находящих себе новые, не виданные до сей поры значения.

Соловьино-музейная ночь

Мне давно хотелось написать про музей. Не про какой-то конкретный музей, а про то, что современная цивилизация — это, в сущности, музейная цивилизация. В том смысле, что многие предметы, явления и идеи во все ускоряющемся времени стремительно деактуализируются, становясь реальными или потенциальными объектами музеефикации. Мне хотелось написать о том, что в развитом “музейном” мире грань между музеем и актуальной жизнью осознается и поддерживается. И это правильно. Пожарный насос позапрошлого века, выставленный

в музее, — это объект ностальгического любования. Тот же насос, используемый при тушении пожара, — рухлядь, причем небезопасная.

Какие-то вещи могут быть экспонатами музея, осмысленными, описанными и пронумерованными. Но они же могут навсегда остаться всего лишь мусором. И хорошо еще, если мусор осознается как мусор. Но беда, если мусор используется как актуальный объект актуальной жизни. Мы окружены со всех сторон архаическим мусором наподобие “держав”, “патриотизмов”, “национальных гордостей” и прочих прялок-веялок, мусором, необычайно вредящим социальной экологии. В то время как музей — это художественная штопка нашей рвущейся в разных местах исторической памяти.

Многие люди живут в музее, сами о том не подозревая. Уверенные, что живут в современном мире, они живут в музее — в этнографическом, краеведческом, историческом или в музее какой-нибудь очередной боевой славы, проводя дни и ночи между макетом стоянки первобытного человека, казацкой саблей и сапогами товарища Сталина.

Но так и не написал я обо всем этом. Как-нибудь потом.

А еще я очень хотел написать о таком шокирующе оригинальном предмете, как соловьи и их пение. Хотелось поразмыслить о том, почему именно эта птичка на многие века стала неизменным персонажем мировой лирики. Известно, что соловей в паре со своей верной розой пришел в европейскую лирику от арабов. Ну и что? А почему они так прижились? Ведь даже, как я где-то прочитал, американские поэты до конца XIX века усердно писали о соловьях, притом что на американском континенте соловьев вовсе не водилось. Но не стал я писать и о соловьях. Как и о музеях.

Но дважды на моей памяти “музейная” и “соловьиная” темы слились в единый сюжет.

Первый такой.

Лет десять тому назад мне пришлось несколько ночей пожить в музее. Туда меня пригласил один богатый немецкий коллекционер с незамысловатой фамилией Мюллер. Он был владельцем художественного музея в пригороде Дюссельдорфа. Музей располагался на лоне природы. Его территория состояла

из большого парка и присоединенного к нему заброшенного военного полигона. Мюллер был меценат и любитель музыки и поэзии. Поэтому он регулярно устраивал у себя поэтические и музыкальные фестивали. На один из таких фестивалей он пригласил и меня, поселив в бывшем охотничьем домике, с подвала до чердака напичканном художественными шедеврами и антиквариатом.

Все, кому приходилось когда-нибудь служить сторожами в музеях, поймут меня, если я скажу, что ночевать в музее среди сплошных шедевров — дело довольно мучительное и тревожное.

Сам Мюллер жил неподалеку, в отдельном домике. Ко мне он заходил по вечерам выпить по бокалу вина и поболтать. Мне нравилось с ним болтать, потому что немецкого я не знаю, а по-английски он говорил так же скверно, как и я.

Однажды он сказал: “Видите этот рояль? Это очень хороший рояль. На нём однажды играл Рихтер”. И он рассказал, как сколько-то лет тому назад он пригласил Рихтера и устроил концерт для десяти примерно слушателей. “Здесь играл Рихтер, — рассказывал Мюллер, — а здесь сидели гости. А вокруг

дома стояли несколько нанятых мной человек и палками отгоняли соловьев. Они пели ужасно громко и мешали маэстро играть, а публике — слушать”.

Второй сюжет совсем недавний и совсем короткий. Пару недель назад поздно вечером я шел по Никитскому бульвару. В Москве, как и во многих других городах России и Европы, проходила “Ночь музеев”. Поэтому неудивительно, что в достаточно поздний час бульвар буквально кишел оживленной, шумной публикой. И в столь неожиданном месте, властно перекрывая весь этот шум, гам и смех, неистово наяривал соловей. Людей с палками я не видел.

Зла хватает

Не от одного и не от двух приходится слышать в наши дни о том, что ощущение тотальной агрессии висит в воздухе, как топор в накуренном тамбуре. Что агрессией этой воздух пропитан примерно так же, как недавним летом он был пропитан пожарным дымом. Что агрессия эта чувствуется почти на тактильном уровне. Особенно часто и взволнованно говорят об этом те, кто не живет здесь постоянно, а лишь приезжает время от времени. Мы-то, мол, тут придышались. А у них-то восприятие свежее, а потому и особенно чувствительное. И такого,

говорят многие, раньше все-таки не было. Всякое, мол, было. Но такого...

Ну да — не было! Было, конечно. Всегда было. Сколько себя помню. Помню казарменные и репрессивные школьные годы. Помню постоянную готовность к драке во дворах и школьных коридорах. Помню коммунальную кухню, где все были недовольны всем. И не только друг другом, но и как бы миропорядком вообще. В самый разгар всенародного, подогреваемого кухонной радиотрансляцией космического энтузиазма всегда скептическая и раздраженная, как казалось, на всю Солнечную систему Вера Алексеевна с явно не соответствующей моменту яростью говорила: “Собак в космос посылают, а тут людям жрать нечего!” И кстати, как я понял многие годы спустя, не так уж была неправа.

Я помню не располагавшую к вселенскому дружелюбию тесноту и скученность, пресловутый “квартирный вопрос”, о котором я вспомнил с особой яркостью, когда прочитал в ленте новостей о том, что “Лондонскому зоопарку необходимо собрать около 5 млн фунтов стерлингов, чтобы построить новый

вольер и расселить не поладивших друг с другом тигрицу и тигра”.

Помню ругань и драки в очередях. Помню бесконечное по самому ничтожному поводу “пойдем выйдем”. Помню “Пацан, дай десять копеек. Нету, говоришь? А если поискать?” Помню и собственную постоянную готовность к отпору и ответной агрессии. Помню бесконечные и необычайно однотипные рассказы своих друзей про армейскую службу. Помню и никогда не забуду лица продавщиц, участковых милиционеров, домоуправов и кассирш в сберкассах. Лица, неизменно выражавшие с трудом сдерживаемую ненависть, смешанную со снисходительным презрением и нескрываемым раздражением.

И помню я — нельзя этого забыть — бесконечно повторяемую мамашами и няньками, воспитательницами детских садов, учительницами младших и старших классов, продавщицами и официантками, билетными кассиршами и уборщицами метрополитена, участковыми врачами и ткачихами с поварами идиому “зла не хватает”. Уж чего-чего, а зла хватало. Всегда.

А кажется иногда, что “такого никогда не было”, не только потому, что у памяти нравственно здо-

рового человека есть спасительное свойство редуцировать зло, сворачивать его в файлы и папки и не открывать их без особой необходимости, но и потому, что само зло, что называется, не стоит на месте. Оно, как газ или жидкость, все время меняет обличья, принимает формы вмещающих его сосудов.

Бытует такое мнение, что общее количество зла в мире неизменно. Оно лишь очень неравномерно распределяется в пространстве и времени. Оно — в соответствии с законом сохранения энергии — переходит из одного агрегатного состояния в другое и из одного вида энергии в другой.

Зло перераспределяется, как перераспределяются время от времени собственность и направления денежных потоков.

Кто-то спросил однажды: “Почему в послевоенном СССР (до прихода к власти Горбачева) не взрывали дома со спящими в них людьми, не захватывали больницы и школы с заложниками, не убивали журналистов, не было терроризма?”

А потому что терроризм, как и все остальное, узурпировала в те годы сама власть. Больниц не захватывали, это правда. Зато целые народы пере-

селяли из одних мест в другие. Домов со спящими жильцами не взрывали, зато входили в квартиры спящих, будили их и увозили в лагерь. Журналистов не убивали в их собственных подъездах (хотя было и это) — их пытали и расстреливали на Лубянке.

От изменения того или иного режима зла не становится ни больше, ни меньше. При тоталитарных режимах все зло концентрируется в одних руках — в руках власти. В странах, где больше демократии, зло становится частным делом. Оно приватизируется.

А при каком общественном устройстве лучше или хуже живется — так это дело сугубо индивидуальное. Кто-то хочет быть свободным, а потому должен быть готов к различным рискам, каковыми всегда сопровождается свобода. А кому-то уютнее живется под патронажем пахана, который, конечно, может и замочить под горячую руку, но может, когда добрый, и поделиться с тобой горбушкой с повидлом.

А сосредоточенного или рассредоточенного в мире зла, повторяю, не становится ни больше, ни меньше. Вопрос лишь, как, впрочем, и всегда, в нашей способности отличать его от добра и в нашей воле к сопротивлению.

Мир спасет балаган

Когда я шел, чтобы постоять в “Белом кольце”, я боялся, что людей будет мало, что многие подустали от бурных, веселых и многолюдных, но лишенных вещественного результата стояний и хождений. Я боялся, что мне придется стоять в жидкой цепи молчаливых сограждан, слегка стыдливо демонстрируя городу и миру инфантильную белую ленточку, а мимо меня будут мчаться автомобили, начиненные вечно озабоченными и вечно мрачноватыми горожанами и гостями столицы. Я пошел из чувства долга. Я знал, что не пойти было бы неправильно. Вот и пошел.

Придя на назначенное место, я устыдился своего вечного неизбывного скепсиса. Да, я скептик. Да, я всегда ожидаю худшего. Но именно поэтому я радуюсь всякий раз, когда ошибаюсь. Людей было не просто много, а очень много.

Москва, как известно, слезам не верит. Не очень она верит и в добрые и бескорыстные помыслы окружающих. И, увы, для подобного недоверия имеются некоторые основания. А именно поэтому кажется несомненным счастьем то неожиданное обстоятельство, что, оказывается, так много совершенно разных людей способны радоваться друг другу.

Стоя в этой теплой толпе, слушая сводный оркестр автомобильных клаксонов, приветствуя проезжающих мимо знакомых, а чаще, разумеется, вовсе незнакомых, я испытал почти забытое чувство: я откровенно любовался родным и, несмотря ни на что, любимым городом.

Вот перечитал я только что написанные абзацы и с некоторым смущением обнаружил, что неволью впал в совершенно мне не свойственный, несколько восторженный тон. Ну а что же делать, если все было именно так.

Теперь нельзя не вернуться к теме скепсиса. И не только моего. Многие говорят: “Ну и что? И чего такого вы этим добились? А чего добьетесь?” “Вы что, не понимаете, — говорят они, — что “они” понимают только два языка: язык силы и язык денег. А вы тут со своими ленточками и креативными веселыми слоганами да картинками? Это все, конечно, весело и празднично. Но вы этим никого не испугаете”.

А вот это правда, никого не испугаем. Прежде всего потому, что никого пугать и не собираемся. Пугают как раз нас. А мы вот не боимся.

Есть такая приклатненная формула: “Я тебя научу свободу любить”. Понятно, что подразумевается под ней нечто прямо противоположное. Вообще же учить кого-либо любви к свободе не только бесполезно, но и невозможно. А если это и можно сделать, то лишь одним-единственным способом — являя и демонстрируя своим личным творческим и повседневным поведением, каковы бывают свободные люди. Свободу не преподают, ей не учат. Ею заражают. И ею заражается все большее и большее число людей.

А “они” заражают общество собственной агрессивной тупостью, мрачным сопящим напором, несусветной колхозной конспирологией. Они представляют себе общество в виде огромного детского сада для детей с задержками в развитии. И развращают его всеми доступными им способами.

Но мы их победим. Внутренней свободой, веселостью, творческой энергией, уроками самоуважения и уважения взаимного.

“Это все понятно”, — говорят многие, особенно твердые сторонники хирургической концепции участия в историческом процессе. “Это понятно, — говорят они, — но у нас тут что — политика или перформанс? Зачем же серьезное дело превращать в балаган?”

Конечно же, политика, ответил бы я. Просто теперь это и есть политика. А насчет балагана... Что же, по-моему, именно балаган — это то, что нам и нужно. Если перефразировать широко известный тезис о том, что мир спасется красотой, то можно сказать, что мир спасется бахтинским карнавалом, интеллектуальной мистерией, балаганом. Вспомните-ка книжку, любимую многими из нас в дет-

стве, — “Трех Толстяков”. Кто играл и сыграл там главную роль в сокрушении постылых Толстяков? Вспомнили? Ага, это были артисты. Причем цирковые. Балаган, одним словом.

Путин, конечно же, проскочил в дамки. Но это, в сущности, ерунда. Он там, в своих “дамках”, окажется в обескураживающем одиночестве. У него, конечно, останутся, покуда не развалятся окончательно, армия, флот и, естественно, одна из самых преступных, а потому и принципиально не реформируемых организаций XX века, выходцем из которой и выучеником которой является он сам. А также куча жадной, ненадежной, туповатой и вороватой дворни с бегающими глазами. Это уж точно не балаган. Куда им до балагана, если они ни ступить, ни молвить не умеют.

И пусть они живут в своей интеллектуальной резервации. Пусть они свозят на стадионы толпы оптового электората, неумело изображающего всенародную любовь. Не знаю, верит ли в эту самую любовь он сам. Если так, то мне это сильно напоминает старый анекдот о том, как две моли ведут светский разговор в платяном шкафу. Одна дру-

гой говорит: “Ты, знаешь, оказывается, люди меня необычайно любят и уважают”. “Почему ты так решила?” — спрашивает вторая. “Ну как почему! Я буквально вчера провела целый вечер в обществе людей. Так меня там так приветствовали! Мне так аплодировали!”

И мы их все равно победим, я не сомневаюсь. Причем с помощью балагана. Победим, побеждая и веселя самих себя. Я в этом уверен, несмотря на некоторые представления об отечественной истории и на то, что я все-таки скептик.

Ну такой уж я, видимо, неправильный и непоследовательный скептик. Но уж какой есть.

В детском мире

В музыкантской среде в качестве объектов для шуток, не всегда добродушных, чаще всего принято почему-то выбирать духовиков и альтистов. Иногда, впрочем, анекдотическим персонажем может быть даже и дирижер. Бывают и вокалисты. И ударники. Среди прочих я слышал и такой анекдот, по-моему, довольно забавный. Как раз про ударника.

Сидит, значит, такой барабанщик у себя дома в окружении разных ударных инструментов и репетирует. Репетирует азартно и вдохновенно. Вдруг в комнату входит его малолетний сынишка. “Чего

тебе, сынок? — недовольно спрашивает папаша. — Ты разве не видишь, что папа занимается?” — “Пап, я только хочу спросить одну вещь”. — “Ну давай, только по-быстрому!” — “Пап, ты, когда вырастешь, кем хочешь стать?”

Это в качестве эпитафии.

Я очень люблю употреблять эпитет “взрослый” по отношению к тексту, к высказыванию, к художественному жесту, к поступку. Мне кажется, что в сложившейся на сегодня социально-культурной ситуации взрослость — явление редкое, а потому и особенно ценное.

Под взрослостью я понимаю прежде всего ответственность, отношение к сложному, непонятному, чужому как к задаче, требующей решения. Взрослость — это ясное осознание того, что если ты, допустим, треснул башкой о дверной косяк, то виноват в этом скорее всего не косяк.

Взрослых людей, повторяю, увы, не так много. Взрослых обществ — тоже.

Реакции детского мира на проблемы, имеющие место в мире взрослом, сходны с реакциями ребенка, уверенного в том, что мама обижается на папу,

потому что он, по-видимому, отнял у мамы игрушку, а папа сердится на маму, потому что она съела его порцию мороженого.

Я пошел в первый класс, когда мой старший брат пошел в десятый. Хорошо помню, как после урока арифметики я сказал брату: “У вас там небось в десятом-то классе математика трудная, не то что у нас — два плюс три. Вам там, наверное, задают трудные задачи, например, сто плюс четыреста”. И я очень обиделся, когда брат и его приятели радостно заржали.

Интересно, что я уже и тогда прекрасно знал, сколько будет сто плюс четыреста, но детскому сознанию трудно совладать с тем, что существуют пороги сложности, до поры до времени не доступные его разумению. Взрослый мир в представлении ребенка такой же, как и его, только нулей побольше.

“Моя страна — подросток! — звонко и горделиво воскликнул однажды пролетарский поэт. — Твори, выдумывай, пробуй!” С тех пор “страна-подросток” довольно много чего успела натворить и еще больше всякого разного навывдумывать, но подростком при этом так и осталась. И не столько даже подростком, сколько переростком-второгодником.

Государство и общество в разные времена примеряли на себя то одни, то другие возрастные одежды.

Именно в подростковом возрасте я пережил отчетливый, интенсивно культивируемый культ “молодости” и сопутствующей ей “романтики-фантастики”. Это было в 1960-е годы, когда все кафе, кино-театры, гостиницы, газеты-журналы и радиостанции было принято называть “Юностями”, “Сменами” и прочими “Синими птицами” да “Алыми парусами”. В те же годы появилась такая профессия, как “молодой поэт”. Некоторым из молодых поэтов на сегодняшний день хорошо за семьдесят, но от однажды выбранной профессии уже никуда не уйдешь.

Потом эпоха мятежной юности с ее лозунгами типа “Коммунизм — это молодость мира, и его возводит молодым” плавно и незаметно сменилась эпохой “старости”, что было легко объяснимо средним возрастом тогдашнего руководства.

“Старость”, разумеется, эвфемизировалась как “мудрость” и “зрелость”. Не зря же свой ублюдочный, сделанный из ломкой позолоченной пластмассы социализм они называли “зрелым”. Ну а каким же еще — не маразматическим же.

В таких сенильных декорациях и грянула вдруг достопамятная перестройка, а также все, что за ней последовало.

Страна и общество впадают то в беспокойный и дурашливый пубертат, то в тревожное и суетливое старческое слабоумие. А вот взрослости нет как нет.

Времена меняются, а общество наше пребывает в вечном, хотя и не вполне блаженном детстве, какое обстоятельство закреплено даже на уровне повседневного языка, где социальные связи выстраиваются в терминах и категориях кровного родства. Отсюда все эти родины-матери и вожди-отцы. Отсюда все эти мамыши, папаши, сынки и дочки. Отсюда вечная игра в дочки-матери.

Эх, птица-тройка! Кем, скажи, ты хочешь стать, когда вырастешь наконец? Да и вырастешь ли? Станешь ли взрослой? А?

Знаки внимания

Наше общественно-политическое сознание насквозь пронизано эгоцентризмом, принимающим иногда довольно болезненные формы. Плюс традиционная деревенская подозрительность. Плюс не менее традиционная стародевическая обидчивость. Не потому ли разные события в мире, не имеющие, казалось бы, ровным счетом никакого отношения к российским делам, принимаются здесь исключительно на свой счет? Вроде того как амбициозный, но при этом крайне неуверенный в себе человек нервно озирается, услышав в гуле толпы слово “дурак”.

Поэтому в мире, как вы, возможно, заметили, постоянно происходят различные антироссийские события.

Вот, допустим, в одной из стран бывшей советской империи заведут разговор о запрете коммунистической, а также нацистской символики. Это, чтобы вы знали, антироссийская акция. Ну а какая еще — не антигерманская же!

Или, например, в другой стране примут закон о люстрации бывших советских функционеров и чекистов. Это все против России. А вы как думали?

Или в совсем далекой стране шарахнут ракетой по дворцу маньяка с опереточным обликом, но с совсем не опереточной манерой пострелять с вертолета в живых людей, посмевших продемонстрировать недостаточно восторженные чувства по отношению к слишком уж долгому сидению на их шее заполошного ублюдка.

Это против России, если вы еще не поняли. Типа сказка ложь, да в ней намек.

Или, скажем, в одной балканской стране выковыряют из-под прелой соломы какого-нибудь очередного Гнидко Вшивича, очередного национально ориенти-

рованного живодера — бескомпромиссного борца за святое дело этнической стерильности. Да и поведут его под белые по локоть руки в город Гаагу для его личного участия в процессе публичной юридической квалификации его же пламенной деятельности.

Не преступление ли это против человечности? Не надругательство ли над национальным достоинством народа, позорно купившегося на сладкие посулы бесстыжей и бездуховной еврозоны, вместо того чтобы до последнего патрона и последнего куса хлеба отстаивать величие имени сербского?

И конечно же, все это против России. Потому что это удар по традиционной нашей, заскорузлой всемирной отзывчивости, выражающейся, как правило, в снайперски точном выборе всей, какая только водится на планете, мировой швали в качестве объектов любви и сочувствия.

А на кого, как вы думаете, направлены натовские ракеты? Для того они, чтобы в случае чего какой-нибудь полоумный аятолла не вздумал поиграть со спичками? Ха! Не будьте лохами, пацаны. Россия их цель. Только она. И ее ресурсы, конечно же. Ну и духовность, само собой.

Антироссийские вылазки не прекращаются. Потому что Россия — кость в горле. Потому что только она одна стоит на пути окончательного закабаления народов заокеанской закулисой, хищными ястребами Пентагона и алчными воротилами Уолл-стрит.

Но это, так сказать, на уровне сознания. Даже не сознания — риторики. На уровне же подсознания дело, мне кажется, в том, что они, то есть те, кто любые мировые события связывает с тем или иным отношением к ним, сами-то про себя отлично знают, кто они такие и что они такое. А потому и любое ассенизационное мероприятие в любой точке планеты совершенно искренне воспринимается как направленное непосредственно против них. А поскольку они еще и уверены, что они и Россия — это синонимы, то, конечно же, указанные мероприятия носят исключительно антироссийский характер.

Почему здесь столь нервозно реагируют на разговоры о том, что коммунистическая идеология родственна фашистской? Почему возникает столь истерическая реакция на попытки бывших окраин бывшей империи изжить советский морок? Откуда такая пламенная страсть по поводу судьбы памят-

ников, монументов, знаков, портретов, флажков, названий улиц? Почему все то, что в годы советской власти маркировалось как антисоветское, стало восприниматься как антироссийское?

Почему, когда кто-то где-то воспринимает нынешнюю Россию как духовную наследницу колхоза имени Сталина, это вызывает такую нервную реакцию? Если вы, господа-товарищи, и сами считаете так же (а ряд высказываний и поступков некоторых видных политических и государственных деятелей это вполне подтверждает), то чего же обижаться. Это же вроде как хорошо. Вроде как правильно. Держим, мол, не роняем знамя дедов-охранников. Или вы так не считаете и уверены, что Россия давно уже избавилась от коммунистической утопии и отважно присоединилась к семье цивилизованных народов? Тогда тем более — зачем обижаться на дураков? Вот если бы, допустим, англичан кто-нибудь заподозрил в массовой приверженности коммунистическим или национал-социалистическим идеям, как бы среагировал на это среднестатистический англичанин? Правильно, он бы улыбнулся и пожал плечами.

Почему все это? Россия ведь уже вроде как другая страна. Она ведь вроде как уже не СССР. Она уже как бы имеет цивилизованную конституцию. Политическая система уже вроде как не однопартийная. Вроде как имеются в ассортименте различные права и свободы, такие же, как “у них”, а то и лучше. Вроде бы рынок и частное предпринимательство. Или это все толстый слой косметики, под которой таится дряблый морщинистый совок? Я, заметьте, всего лишь спрашиваю, хотя ответ мне более или менее известен.

Есть, мне кажется, и еще один мотив этой повышенной мнительности. Очень, надо сказать, грустный мотив. В разное время к России в мире было разное отношение: ее боялись, ее пытались разгадать, ею восхищались, ее ненавидели, ею интересовались. По-разному было.

В наши дни усилиями дорвавшихся до власти унылых ничтожеств Россия стала для мира удручающе неинтересной страной — скучной, безнадежно провинциальной и к тому же не очень полезной для здоровья. Страной, загнавшей саму себя — вроде как в свое время реку Неглинку — в нефтегазовую

трубу. И очень скоро может случиться так, что лишь через эту трубу и будет осуществляться зыбкая связь страны с миром.

Если внутри страны и попадаются отдельные особи, искренне верящие, что Путин дал народам России письменность, научил их пользоваться спичками, Интернетом и унитазным ежиком, то во взрослом мире он как был, так и остается мелким дрезденским сексотом без облика и склада, которого Россия, как это ни печально, оказалась достойна.

Как тут не ловить повсюду мнимые знаки внимания? Как тут избежать соблазна принимать все происходящее в мире на свой счет? Ну хотя бы и со знаком минус. Ну хотя бы как.

Что хотелось бы забыть, но не получается

1. День моего четырехлетия, когда я больно укусил одного из гостей, соседского Борю Никитина. За что — не помню. Скорее всего, ни за что. А он, между прочим, подарил мне пистолет и набор пистонов.
2. Девять часов вечера, когда мама “безо всяких разговоров” укладывала меня спать. А они-то все там, за стеной, пили чай с тортом, смеялись. Разумеется, надо мной.
3. Кто-то ужасный, кто прошел однажды прямо за окном, — не человек, не коза, не собака. Про-

- шел, шурша мерзлыми сухими ветками, и исчез куда-то. Заснешь тут, пожалуй.
4. “Детский мир”, куда мы поехали с мамой, чтобы наконец-то купить мне матросский костюм. Куда там! Вместо этого почему-то был куплен пестрый колючий свитер. Как я плакал всю обратную дорогу. Как я ненавидел этот свитер, этот магазин, эту маму.
 5. Облеваный мною халат врача, залезшего мне в глотку деревянной палочкой.
 6. Спичечный коробок с кусочком кала на анализ, непостижимым образом потерянный по дороге в поликлинику.
 7. Операция на железы.
 8. Рыбий жир.
 9. Молочный суп.
 10. Боязнь заснуть и не проснуться.
 11. Как я дразнил бабушку за то, что она читает перед сном одну и ту же книжку, причем справа налево, и при этом бормочет себе под нос что-то не по-русски. Это было ужасно смешно.
 12. Как соседская дворняжка Булька стащила с меня трусы на глазах Тани Синотовой.

13. Как я выпил полстакана постного масла (думал, что квас) и что было потом.
14. Как по дороге с новогодней елки я съел весь подарок и что было потом.
15. Как мама обещала, что мы поедем в воскресенье на ВДНХ гулять и есть мороженое, но что-то случилось, и мы не поехали.
16. Деревянный конь Сивка, который у Сашки был, а у меня — нет.
17. Бежевый плащ Елены Илларионовны, заляпанный чернилами, которыми я случайно пульнул из водяного пистолета. Уж так вышло.
18. Витька Леонов из соседнего двора, который обозвал меня жидом, на что я ему сказал, что сам он жид.
19. Учительница Марья Васильевна, которая не разрешила мне выйти из класса, и я описался.
20. Завуч Юлия Михайловна, дернувшая меня за ухо так, что пошла кровь.
21. Историк Иван Тихонович, говоривший “лабораторное государство” и называвший меня почему-то Гуревичем.

22. Англичанка Анна Павловна по прозвищу Половник, которой я однажды зачем-то подставил подножку, и она упала. До сих пор не понимаю, как это случилось.
23. Субботник, воскресник, сбор металлолома, сдача норм ГТО.
24. Прием в пионеры, прием в комсомольцы, прием у зубного.
25. Вообще школа.
26. Первые литературные опыты.
27. Вторые литературные опыты.
28. Ленин, из-за которого я навсегда рассорился с одной девушкой. Она говорила, что что-то же должно у человека быть святое.
29. Повышенные социалистические обязательства.
30. Песня “Мой адрес — Советский Союз”.
31. Песня “Каким он парнем был”.
32. Песня “И Ленин такой молодой”.
33. Некоторые другие песни.
34. Памятник Дзержинскому, у которого я однажды назначил свидание, забыв, что подойти к нему невозможно. Свидание, понятное дело, не состоялось.

35. Пять часов в очереди за водкой в конце декабря 1988 года. Водка нужна на поминки: мама умерла.
36. Пять часов вечера четвертого апреля тысяча девятьсот девяносто шестого года. В чем там было дело, не скажу.
37. Многое другое.

КОСВЕННАЯ РЕЧЬ

Праздник возвращения

Ну разумеется, радио. Радио, неизбежно висевшее на кухонной стене и не умолкавшее ни на миг, пело и играло нам эти песни с утра и до позднего вечера. Это не было ни искусством, ни культурой, ни поэзией, ни музыкой. Это было чем-то существенно большим — неумолчным фоном повседневности. То есть самой повседневностью, неотделимой от чистки картошки или купания младенца в корыте, коммунальной склоки или запаха маминого борща.

Но и не только радио. Разве ж забудешь одного дядю Сережу, которого на все семейные

праздники вся квартира зазывала с его трофейным аккордеоном. Это такое было счастье! Для детей особенно. Для взрослых, кажется, тоже. “И пока за туманами видеть мог паренек”, — пел дядя Сережа, и все ему подпевали. Тогда слова песен знали практически все.

Я тоже пою иногда эти песни. И в детстве, и теперь. И ловлю себя на том, что в своем пении я невольно подражаю не певцам из радиоточки, а дяде Сереже, вносившем в свою певческую манеру слегка дворовые, чуть-чуть приבלатненные интонации.

Я думаю, что годы войны были самыми несоветскими годами за всю советскую историю. Это был единственный эпизод, когда практически совпали по большинству пунктов интересы государства и общества, государства и отдельных людей. Все было предельно понятно и ясно: на нас напали, нас хотят уничтожить, мы должны сражаться, чтобы спасти и защитить наши дома и наших родных. Хотя объективно получалось так, что спасали заодно и политбюро, и товарища Сталина, и НКВД, и колхозы, и ГУЛАГ.

Вот и расцвела тогда пышным цветом песенная лирика. И ничего похожего по силе и достоверности не было ни до войны, ни после нее.

О чем эти песни? Да об одном и том же. Они были подчинены единому канону, но не тому ГОСТу, в соответствии с которым производилась большая часть советской художественной продукции, а канону глубинному, фольклорному.

Вот сравните: “Лети, мечта солдатская, к дивчине самой ласковой, что помнит обо мне” — “Всю нежность свою, что в смертном бою, солдат, сберегли мы с тобой, мы в сердце своем жене принесем, когда мы вернемся домой” — “И каждый думал о своей, припомнив ту весну. И каждый знал — дорога к ней ведет через войну” — “Ты ждешь, Лизавета, от друга привета и не спишь до рассвета, все грустишь обо мне. Одержим победу — к тебе я приеду на горячем боевом коне” — “Чтоб все мечты мои сбылись в походах и в боях, издавляка мне улыбнись, моя любимая” — “Мне нелегко до тебя дойти. Ты меня, родная, жди и не грусти. К тебе я приеду — твоя любовь хранит меня в пути” — “Ты меня ждешь и у детской кровати не спишь. И поэтому знаю —

со мной ничего не случится” — “Мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви”.

Может показаться, что все эти песни на одно лицо. Но они все разные, потому что все они настоящие. А настоящее всегда неповторимо, как походка, как интонация, как тембр голоса.

Вспомните слова этих песен. Вы не найдете там ни Сталина, ни Ленина, ни ВКП (б), ни колхоза-совхоза, ни пятилетки в четыре года — нету там ничего, что бы отдаленно указывало на конкретные реалии агитпропа и Совинформбюро 1940-х годов.

Нету в этих песнях никакой руководящей роли партии и правительства. А есть там другая руководящая роль — руководящая и направляющая роль мужества, разлуки, смертельной опасности, ожидания, верности, любви и надежды. И всего лишь. И это самое “всего лишь” как трогало сердца людей в те годы, так трогает и теперь.

Если попробовать вынуть эти песни из исторического контекста, не будет даже и понятно, в какое время и о каком времени они поются. О чем речь? О чем и во все времена — “о службе морской, о дружбе мужской”.

Получается, что речь идет о войне вообще. О той единственной, Троянской. И главными героями, что в той, что в этой войне неизбежно оказываются не маршалы и не верховные главнокомандующие, не Цезари и не Сталины, а все те же вечные и никогда не стареющие Одиссей и Пенелопа. Прямоком из древнего эпоса, чудесным образом помноженного на бесхитростную, почти лубочную эстетику городской окраины, дошли до нас эти вечные, а потому бесконечно трогающие мотивы.

Авторами стихов этих песен, что удивительно, были поэты, прямо скажем, не первого ряда. Многие из них в мирное время производили тягучие и вязкие “споем же, товарищи, песню о самом родном человеке, о самом любимом и мудром — о Сталине песню споем”. Но именно эти стихотворцы волей исторических обстоятельств оказались сверхпроводниками, универсальными медиумами фольклорного сознания, радикально очищенного от плотного культурного слоя.

Это были те самые пресловутые “простота” и “народность”, что столь естественны, насущны и спасительны в годы освободительных войн и столь

крикливы, агрессивны и попросту реакционны в мирное время, требующее от художника интеллектуальной отваги, повышенной рефлексии, беспощадного скептицизма и умения сказать твердое “нет” в ответ на всенародное “да”.

В искусстве необычайно важна и насущна уместность высказывания, точечное попадание в конкретный контекст. Предельная уместность, актуальность и точность художественного жеста, безотказно сработавшие однажды, обретают непостижимую способность срабатывать и в других культурно-исторических контекстах. Поэтому мы будем снова и снова перечитывать “Онегина”, “Капитанскую дочку”, “Анну Каренину”, “Трех сестер”. Поэтому мы всегда будем петь песни военных лет, каким бы конъюнктурным натискам ни подвергались вновь и вновь война и победа.

Инерция этой внезапно и мощно прорвавшейся свободы тянулась еще и в первые послевоенные годы, но стала все больше и больше противоречить и мешать трескучей “победной” риторике. Этой болотной ряской, впрочем, духовная жизнь общества стала все заметнее и заметнее зарастать уже

к концу войны, когда “великое руководство” перестало ходить под себя от страха, слегка поуспокоилось и начало вновь — сначала робко, а потом все уверенней — напоминать людям о том, кто в доме хозяин и кто для нас с вами выиграл эту страшную и великую битву.

Но намек поняли не все. Сразу после войны Исаковский и Блантер сочинили свой шедевр “Враги сожгли родную хату” — трагическую и бесконечно человечную балладу о вернувшемся с фронта солдате. Это была беспощадная инверсия всей предшествующей военно-песенной лирики. Он воевал. Она ждала. Он вернулся. А ее нет в живых. “Куда теперь идти солдату, кому нести печаль свою?”

Вот вам и “жди меня”. Вот вам и любовь. И верность. И надежда. “Хмелел солдат, слеза катилась, слеза несбывшихся надежд..”

Песню запретили, кажется, почти сразу же, после первого или второго исполнения. Да разве ж такое запретишь!

Откуда мы все вышли

Странный был такой предмет у нас в девятом классе. Назывался “машиноведение”. Это потому, что в школах тогда насаждалось “политехническое образование”.

Через пару лет эта фигня как-то сама собой отсохла, но тогда, в годы развитого волюнтаризма, цвела она пышным цветом. Вот и машиноведение поэтому. Из всего курса я запомнил всего лишь два слова, хотя и, говорят, очень важных, — “допуск” и “посадка”. Только не спрашивайте, что это такое, не срамите меня.

На этих уроках, проводимых два раза в неделю, мы занимались чем угодно, но только не поиском

различий между допуском и посадкой. А уж такие дикие слова, как, например, “станина”, и вовсе пролетали со свистом мимо еще не увядших юных ушей.

Учитель был довольно незлобивый, но нервный — иногда багровел и начинал страшно орать. Его все равно не боялись.

И имя-отчество было у него какое-то мультикультурное — что-то вроде Ивана Моисеевича. Кажется, именно так его и звали.

И выглядел он, изъясняясь в сегодняшних категориях, довольно фриковато: треснутые очки, перекрученный, всегда один и тот же, галстук, выползающие из-под брюк голубые кальсоны, неубедительно крашенные волосы.

И говорил он довольно смешно. Нас, например, приводило в иступленное состояние слово “отверстие”. А еще он говорил “шешнадцать миллиметров”.

В общем, легко догадаться, что над ним издевались, или, как это называлось тогда на нашем поганом подростковом языке, “доводили”. Доводили его со всей доступной нам изобретательностью. Старались, например, с самым невинным видом задать

такой вопрос “по теме”, чтобы в ответе непременно прозвучало “шешнадцать”. Были у нас даже признанные специалисты в этой малопочтенной области.

На его уроках в полный голос разговаривали, пулялись жеваными промокашками, пускали под потолок бумажные самолетики, валяжно фланировали по классу. Когда он вдруг осознал, что за шумом и гвалтом он и сам не может расслышать ни единого своего слова про допуски и посадки, он хлопал журналом об стол и вопил срывающимся голосом: “Мы будем заниматься или мы будем дурочку валять?” “Дурочку валять!” — пубертатными петухами отзывалась мужская часть класса, заливаясь безмятежным допризывным гоготом.

Как он все это выдерживал, до сих пор непонятно.

Иногда после коротких приступов нестрашной своей ярости он как-то смущенно спохватывался и говорил тихо, так тихо, что в нескончаемом кошачьем концерте это мог расслышать только я, все десять школьных лет просидевший по причине близорукости на первой парте: “Ребята, ну нельзя же так!”

Если я скажу, что при этих словах я начинал испытывать уколы совести или тем паче пресловутое

“щекотание в носу”, то мне, скорее всего, не поверят — и правильно сделают. Я, разумеется, и мысли не допускал, что можно и нужно быть не таким, как все. Еще чего!

“Шинель” уже была прочитана мною. И что? А ничего. Все мы еще из нее не вышли. И, в общем-то, не особенно и собирались из нее выходить. Для того чтобы научиться содрогаться от невероятного “Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?”, мне понадобился не один год.

Все это я пишу, если кто еще не понял, про Гоголя, про Николай Васильича. И к этому мне добавить особенно нечего.

А что наш непутевый Иван Моисеевич был однажды избит и ограблен, что с него было снято новое зимнее пальто, что он шел до дому пару километров по морозу в одном пиджачке, что он на месяц-полтора слег с воспалением легких и что это обстоятельство несказанно повеселило и обрадовало наш чудесный 9-й “А”, я вовсе не выдумываю. Так и было. По крайней мере могло бы быть.

Шведская сценка

“**Н**у? — бодро и, главное, предсказуемо спросил меня коллега по редакции, лишь только я вошел туда с ритуальным дьютифришным “Абсолютом” в руках. — Сейчас небось засядете за путевые заметки?”

И мы с ним тотчас же предались излюбленному занятию — импровизированию советского заграничного очерка, начинающегося, как правило, со слов “Мельбурн (Осло, Гамбург, Нью-Йорк, Карачи) встретил меня проливным дождем”. Далее обязательно следовали встречи с “простыми людьми”,

жадно расспрашивавшими “меня” о жизни в СССР и положении рабочих. Узнав, что с положением рабочих в СССР все о’кей, простые люди горестно вздыхали и сообщали автору, что у них там с положением рабочих даже и близко не о’кей. О чем и просили “меня” рассказать советскому читателю, ни в коем случае не называя их настоящих имен. Автор же, верный данному слову, честно, ничего не перевирая, кроме имен отважных информантов, передавал советскому читателю нерадостные вести о жизни простого люда. Советский читатель, разумеется, верил каждому правдивому слову писателя и его стройной картине мира, где, например, пожилой докер, отогнув ворот спецовки, показывал автору потайной значок с изображением Ленина, отчего у автора наворачивались на глаза непрошеные слезы. Фальшивый блеск витрин там неизбежно служил толстым слоем грима, под которым скрывалась дряблая кожа пресловутой западной демократии. Ну и так далее.

(Вот и сейчас, когда я пишу эти строки, мой неугомонный коллега ехидно спрашивает, не про “гостеприимную ли шведскую землю” я строчу

свой “репортаж”. Про нее, коллега, про нее самую. Не мешайте работать.)

В этот раз я действительно вернулся из города Стокгольма, который встретил меня никаким не дождем, а ярким солнцем и ужасно холодным ветром. Там было очень холодно и очень красиво, тем более что окно моего гостиничного номера выходило прямо на залив с качающимися от шквального ветра яхтами.

С “простым человеком” пообщаться по душам не пришлось. Попадался в этот раз, как назло, все больше не самый простой человек в лице университетских славистов — как хорошо знакомых, так и не очень.

На второй день имел место вечер с моим участием в клубе, где кучкуются местные гуманитарные люди. Все это мероприятие называлось “Русский вечер”. Кроме меня была шведская поэтесса, чье участие мотивировалось, по-видимому, тем, что она сочинила поэму про свою давнюю поездку в Ленинград, где, судя по ее устным свидетельствам, она общалась как раз с пресловутым простым человеком. Причем едва ли не вся мужская составляющая этого человека дружно, не стовариваясь, проявляла к ней

нескрываемый марьяжный интерес. Будучи девушкой по отношению к себе вполне трезвой, даром что поэтесса, она из этого не стала делать слишком лестных для себя выводов, а просто сообразила, что всему этому люду ужас как хотелось умотать в Швецию, где, как было сказано, блеск витрин неизбежно служил толстым слоем грима.

Еще в “Русском вечере” участвовал ансамбль с двумя певцами: один был натуральный цыган с соответствующим репертуаром, другая — рослая красавица, певшая песенки на идиш. Я этого прекрасного языка не знаю, но, услышав слова “Бессарабия” и “эссен мамалыге”, я, кажется, что-то понял.

Среди музыкантов выделялся скрипач — невысокий чернокожий парень в смешной шляпе с узкими полями. Изумил меня не столько его облик, сколько то, что он заговорил со мной на очень неплохом русском. “Вы откуда?” — спросил я его. “С Кубы, — ответил он. — А русский я знаю потому, что закончил Киевскую консерваторию. Потом еще и в Одессе жил”. И, радостно засмеявшись, он добавил: “Я кубинский хохол”. Как этот кубинский хохол попал в Швецию, я спросить постеснялся.

Такой вот был “Русский вечер”. Хотя почему бы и нет. Все-таки “всемирная отзывчивость” — не пустые же слова.

Я, кажется, знаю, почему все эти четыре дня я столь пристально приглядывался и прислушивался к разным забавным мелочам, которые в другое время могли бы и пройти мимо моего внимания. Я думаю, что так выразилась психическая реакция на страшные и мучительные известия из Японии, наваливавшиеся на меня то с экрана телевизора, то со страниц газет. Непонятный язык усиливал впечатление нереального кошмара и чувство бессильного сострадания.

В другое время я мог бы и не обратить внимания на забавный речевой казус, случившийся в разговоре со старинным моим приятелем, филологом-русистом из Гетеборга. Когда я спросил, как поживает его семья, он вдруг меланхолически, как мне показалось, сказал: “На сегодняшний день в Швеции четыре идиота”. Не успел я восхититься столь высоким интеллектуальным уровнем шведского населения, не успел я с доброй завистью сказать ему, что всего четыре идиота на всю, даже и не слишком много-

населенную, страну — это очень высокий результат, как он продолжил: “А теперь моя жена...” Тут я впал в легкую панику, лихорадочно пытаюсь смоделировать свою дальнейшую реакцию. Но паника была недолгой, потому что он снова продолжил: “А теперь моя жена получила заказ от одного очень уважаемого издательства на новый перевод”.

Фу ты, черт, слава богу! Слово “идиот” мгновенно оделось в крепкие кавычки, как реки одеваются в гранитные берега, и незыблемая картина мира, хоть и утратила на миг свои привычные очертания, все же обрела их вновь.

Да и как я мог не догадаться сразу! Все же понятно: его жена — переводчица, она уже перевела на шведский несколько томов Платонова. А теперь вот получила заказ на новый перевод “Идиота”. А до этого их было четыре. Кто тут идиот, спрашивается? Не надо мне подсказывать, я сам знаю.

Я поведал об этом казусе своему собеседнику, и он от души повеселился, добавив ради восстановления пошатнувшейся было истины, что идиотов в Швеции все-таки существенно больше, чем четыре. Некоторое время мы померялись масштабами наших

национальных идиотизмов и пришли к неизбежному, хотя и печальному, консенсусу: в мире, к сожалению, идиотов больше, чем нормальных людей. После чего отправились на рыбный рынок есть какую-то особенную жареную сельдь.

... А мой редакционный коллега между тем все не унимается. Вот и опять вкрадчиво спрашивает, не собираюсь ли я назвать свой текст “Из стокгольмских тетрадей”. А что, мол, скромно и в то же время оригинально. Собираюсь, коллега, конечно же собираюсь, какие сомнения! А если вы такой умный, то придумайте название сами.

В разноголосице хора

Люди друг друга не понимают. Не всегда, но очень часто. И хорошо еще, если это непонимание имеет лишь невинные, анекдотические последствия. Вроде того, что рассказал мне как-то старинный мой знакомый, в студенческие годы подрабатывавший на Мосфильме в качестве статиста.

Однажды, рассказывал этот знакомый, в компании других статистов он привычно предавался процессу коллективного согрева посредством недорогого портвейна в одной из студийных подсобок. В какой-то момент он услышал, как вися-

щий под потолком хриплый репродуктор вдруг громко и довольно торжественно провозгласил емкий и выразительный, хотя и несколько экстравагантный тост. Это было довольно неожиданно, но в целом скорее уместно. Впрочем, очень быстро до него дошло, что это был вовсе не тост. И вообще это было совсем не то, что ему послышалось вначале. Это была всего лишь рабочая команда “Запись дубля!”, то есть призыв ко всей массовке быстренько нахлобучить на себя казенные ушанки, фуражки и шапки-пирожки и стремглав мчаться на съемочную площадку с целью правдоподобной имитации народного энтузиазма по поводу зажигательного выступления товарища В. И. Ленина на собрании профсоюза работников московских живоделен.

Это, разумеется, всего лишь анекдот из жизни. Но факт остается фактом: люди друг друга не понимают.

Проблема взаимного непонимания, притом что вроде бы все говорят на одном и том же национальном языке, — одна, по-моему, из ключевых проблем нашей общественной жизни.

Было бы неправильно утверждать, что во все прочие времена в стране и в обществе царило пол-

ное благостное взаимопонимание. Нет, конечно. Языковое отчуждение между властью и обществом, а также между отдельными сегментами общества существовало всегда. И разные социальные группы отгораживались друг от друга вполне осознанно, ибо в тотальном государстве это было едва ли не единственным способом хоть как-то оградить пространство своей суверенности. Так, в сущности, проявлял себя врожденный инстинкт самосохранения.

Я уж не буду упоминать о таком очевидном и общеизвестном явлении, как язык воровских сообществ. Но и вполне законопослушные сообщества и группы часто изъяснялись на своей собственной “фене”.

Язык власти был один, язык так называемого “народа” — совсем другой, а язык научной или художественной интеллигенции — и вовсе третий.

У власти был сакральный “византийский” язык, где слова не означали, в сущности, ничего. Важно было лишь то, кто и при каких обстоятельствах их произносил. То есть высказывание имело какой-либо смысл только лишь в контексте.

Инструментальные возможности этого языка виртуозно использовал Горбачев. Его речевое пове-

дение никаким образом не было связано с целеполаганием — он на шаманский манер гипнотизировал собеседника. Значение его речей прояснялось, как правило, лишь после того, как происходило то, что являлось их следствием. “Ах вот что он, оказывается, имел в виду!”

Это не было эксклюзивным изобретением советской эпохи. В далекие времена власть тоже изъяснялась будь здоров как. Знакомый историк обнаружил в архиве документ петровского времени, откуда запомнил совершенно непонятное, но вполне шикарное слово (слушайте внимательно) “занепопреблагорассмотрительствующегося”. Именно так, в родительном падеже, он его и запомнил. Так — не без труда — запомнил его и я.

В среде интеллигенции находились любители-дешифровщики, умевшие читать речи на пленумах и передовые статьи в партийных газетах и переводить их на человеческий язык. Словосочетание “переводить передовицу” стало чем-то вроде популярной скороговорки, далеко не всеми произносимой с первого раза.

Впрочем, язык самой интеллигенции тоже не был вполне “человеческим”. Научная и творческая интеллигенция охотно изъяснялась на вполне “птичьем”, заведомо не понятном начальству языке, что выполняло в те годы примерно ту же функцию, что иголки у ежей.

Существовали языки неформальной молодежи, торговых работников, фарцовщиков, диссидентов и потенциальных эмигрантов, где, например, такие переходные глаголы, как “подать” или “получить”, легко обходились без объекта.

Но в наши дни, как мне кажется, проблема взаимного непонимания приобрела какие-то почти катастрофические масштабы. Потому что это самое непонимание заметно уже и внутри социальных групп.

Вроде бы все произносят одни и те же слова. Но ты все время чувствуешь, что для тебя и для твоего собеседника они имеют совершенно разные значения, вплоть до прямо противоположных. Или, что еще хуже, они и вовсе не имеют никаких значений, а употребляются лишь инструментально, с целью заполнения пустующих коммуникационных емко-

стей. Или, допустим, человек что-то говорит, а у тебя все это время вертятся в голове слова из “Палаты №6”: “Так же вот бывают люди, которые всегда говорят одни только умные и хорошие слова, но чувствуешь, что они тупые люди”.

Мерцание серьезного и пародийного, столь свойственное постмодернистской эстетике, в нынешнем медиаязыке стало уже не приемом, не выразительным средством, а рутинной нормой. Настолько унылой и тягостной, что ты уже не задаешься законным вопросом, серьезно все это сказано или в шутку. Самое ужасное, что этого, как правило, не знает и сам говорящий. Потому и вопрос “уж не пародия ли он?” стремительно теряет свой извечный драматизм, безвольно повисая в пыльном медийном воздухе.

Еще относительно недавно человек, прочитавший больше двух книг и имеющий хотя бы отдаленное представление о том, что такое литературный стиль и что такое литературная пародия, не мог удержаться от счастливого, освобождающего смеха, прочитав на каком-нибудь из патриотичнейших сайтов такой, например, пассаж: “Во мраке своих подвалов, столь же темных, сколь и их душонки, они строят

дьявольские козни, щедрой рукой раздавая налево и направо премии в 30 сребреников за предательство самого дорогого, что может быть у человека, — собственной Отчизны”. Но в том-то и дело, что это давно уже не смешно. Более того, то обстоятельство, что слова эти написаны не в начале 50-х годов, а в наши дни, притом вполне серьезно и явно очень молодым человеком, повергает человека с хотя бы приблизительным стилистическим чутьем в экзистенциальное отчаяние.

Сплошь и рядом употребляются слова и конструкции, призванные произвести и иногда производящие (хотя и исключительно на самого говорящего) довольно сильное впечатление, но при этом начисто лишены какого бы то ни было содержательного наполнения. Однажды я спросил у одного из своих виртуальных зоилов, что в его понимании означает слово “русофобия”, каковым он пользовался столь расточительно, как будто вознамерился личным примером подтвердить теле-рекламный тезис о том, что Россия действительно щедрая душа, и не только в исключительно конди-терском отношении.

Понимая русофобию (как, впрочем, и все прочие “фобии”) как тотальную неприязнь ко всему кругу явлений, маркируемых словом “русский”, я не могу не прийти к утешительному выводу, что в “руссофобы” я решительно не гожусь. Что именно “русского” я не люблю, давайте разберемся? Я не люблю Пушкина, Толстого, Чехова, Зощенко, Платонова, Ахматову, Чайковского? Неправда, люблю. Я не люблю русский язык, литературу, музыку, русских красавиц, множество умнейших и благороднейших русских людей, разнообразнейшую русскую природу? Ничуть не бывало — очень люблю. Или, может быть, я не люблю своих многочисленных друзей и родных? Люблю, и даже очень.

О чем речь-то? Почему это я вдруг руссофоб?

Не потому ли, что я действительно не люблю некоторые стороны прошлой и нынешней российской жизни? Не потому ли, что я очень даже не люблю вороватость и бездарность всех уровней власти, хамство и жульничество чиновников, полукриминальное поведение ментов, рабскую прессу, холопское презрение к свободе и к личному достоинству, готовность оправдать любую подлость, жесто-

кость и жульничество, если они не идут вразрез с “линией партии”? Или потому, что я очень даже не люблю агрессивный провинциализм и наступательное мракобесие? Ну не люблю, правда. Да только русофобия-то тут при чем? Вот если мы совместно договоримся под словом “русофобия” понимать именно это, то тогда я буду готов подтвердить, что да, я таки русофоб.

А пока мы об этом не договорились, я могу ограничиться лишь словами одного булгаковского персонажа: “Кароши люблю, плохой — нет”.

Но он, этот мой антирусофобский собеседник, ответил с завидной определенностью и поистине римской прямоотой: “Что такое русофобия, понимать не нужно”.

Ну слава богу! Отлегло, как говорится. А то я все пытался понять, какое все-таки содержание этот человек и некоторые другие добрые люди вкладывают в это загадочное и абсолютно бессмысленное в данном контексте слово. Теперь наконец-то дано исчерпывающее — одновременно глубоко научное и в то же время поражающее лапидарностью определение. Просто не нужно понимать, и все!

Соблазн взять этот убойный полемический прием на вооружение необычайно велик. Мешает лишь то досадное обстоятельство, что человека человеком делает, помимо всего прочего, и категорическая потребность понимать.

После бала

Бала-то, строго говоря, и не было. Телевидение в основном скромно помалкивало. Высшее начальство вовсе не отметилось по этому малозначительному поводу. Памятное событие было отмечено застенчивым полумолчанием.

Я-то лично скорее доволен. Я не большой любитель пышных государственных торжеств с салютами и разливанным морем казенной пошлости, без которых подобные события не обходятся. Мою душу не радуют протянутые через Садовое кольцо растяжки с цитатами. Меня не умиляют задушев-

ные голоса из метрополитеновских репродукторов, топорно интонирующие “любимые строки”.

Мне, повторяю, эти празднования не нужны. Я и без того люблю писателя Льва Толстого. Может быть, больше, чем кого-либо, кто писал по-русски, а там есть из кого выбирать.

Но интересно все ж, почему такое молчание?

Говорят, что на Толстого до сих пор дуетя солидное и влиятельное учреждение, играющее в наши дни роль идеологического отдела правящей партии и именуемое РПЦ. Может быть, и так. А государство, а общество? Ну, видимо, такое у нас состояние общества, что не до Толстых теперь.

И правда ведь, кому какое дело до того, что сама фигура Льва Толстого — одно из немногих обоснований (чтобы не сказать оправданий) существования экзотического, мягко говоря, исторического явления под названием “Российское государство”? Зачем нам гордиться тем, что “Анна Каренина”, “Смерть Ивана Ильича”, “Казачи” написаны на том же языке, на котором говорим мы? Зачем нам радоваться тому, что, пока эти книги будут читаться, наш язык будет хоть как-то жить? Зачем нам гордиться тем немно-

гим, что делает Россию конвертируемой, если такая цена за баррель? Да и нужна ли кому-нибудь эта конвертируемость, включенность в мировой контекст? Кому-то да, кому-то нет. Но в наши дни убогая и агрессивная мировая провинция все громче подает голос и встает на дыбы, как выживший из ума цирковой медведь. Да и, скажем прямо, плохо как-то, коряво и неприкольно смотрится этот косматый и бородатый портрет на глянцевого обложке. Нетоварно и негламурно. Неформат, короче.

А государство? А так ли уж нужен нынешнему российскому государству автор “русофобского” “Хаджи-Мурата”, вопиюще диссонирующего с великой концепцией “мочения в сортире”? Что делать озабоченному своим силиконовым “величием” государству с такой, например, беспощадной формулировкой: “Патриотизм в самом простом, ясном и несомненном значении своем есть не что иное для правителей, как орудие для достижения властолюбивых и корыстных целей, а для управляемых — отречение от человеческого достоинства, разума, совести и рабское подчинение себя тем, кто во власти. Так он и проповедуется везде, где проповедуется патриотизм”?

Советское государство жаловало Толстого не потому, что было столь чувствительно к предельным высотам художественной выразительности, а потому лишь, что о нем “разговаривал Ленин”, потому, что он был назначен “зеркалом русской революции”. Его, мягко говоря, непростые взаимоотношения с церковью и государством импонировали советской власти, которая расставалась с прошлым не так чтобы особенно смеясь, а все больше посаживая да постреливая. Но расставалась, расставалась не шутя.

Толстого как “крепкого” реалиста, разоблачителя “всех и всяческих масок” и борца с церковью поливало и удобряло коммунистическое государство, чьей официальной идеологией был “научный атеизм”, принявший на наших просторах самобытнейшую форму языческого культа живых и мертвых вождей. А вот толстовство и всяческое непротивленчество ему прощалось так же, как дитю неразумному до поры до времени прощаются разрисованные обои и незнание основ марксизма-ленинизма. Ну не въехал старик в самую передовую идеологию — бывает. Подрастет — поймет.

Советская школа сделала все, что смогла, для того чтобы превратить Толстого в мрачного многословного зануду. Многие, кстати, с этим ощущением так и не справились, с каким бы могучим напором поистине нечеловеческая изобразительная сила его книги прорывала не только бетонные плиты “школьной программы”, но даже и его собственную жизненную философию.

Может быть, еще и поэтому его посмертная судьба в других странах оказалась счастливее, чем в собственной стране.

А теперь вот державное молчание. Но Лев Толстой для всего мира, а стало быть, и для нас с вами останется Львом Толстым даже и без поддержки государства Российского. Это проблема не Льва Толстого, это проблема Российского государства и российского общества.

Совсем недавно в Германии вышел новый перевод “Анны Карениной”. Издание его было приурочено к дате, которую отмечал в эти дни весь цивилизованный мир. Отмечал очень широко, что было особенно заметно в сравнении со скромным молчанием родины. Перевод этот сделала блестящая

переводчица Розмари Титце, моя хорошая знакомая. Не удержусь и похвастаюсь тем, что какие-то сложные места она обсуждала в том числе и со мной. Горжусь.

На днях Розмари приезжала в Москву и рассказывала о своей работе над переводом. Очень интересно рассказывала. В числе прочего она сообщила, что ее перевод “Карениной” на немецкий оказался 21-м по счету, и говорила в связи с этим, что задача была особенно сложной — ее перевод должен был заметно отличаться от предыдущих. Судя по реакции читающей публики, раскупившей уже больше половины тиража, ей это удалось.

Ну что ж, 21-й перевод — это хорошо. У нас же, похоже, Льва Толстого так все еще по-настоящему и не перевели. Жаль, но что делать — придется, как это ни трудно, читать и перечитывать его в подлиннике.

Прошу к столу

Детское восприятие пространства существенно отличается от взрослого. Размеры пространства в сознании ребенка прямо пропорциональны числу людей, вещей и животных, одновременно это самое пространство заполняющих. Короче говоря, чем больше народу, тем больше и комната. Чем теснее, тем просторнее.

Это я к тому, что, когда в нашей коммунальной восемнадцатиметровой комнате за стол садилось человек тридцать гостей, комната превращалась в огромный банкетный зал. И как же я это любил! Как ждал! Как вертелся около мамы, одной рукой

месившей тесто, а другой вертящей рукоятку мясорубки! Душа жаждала самого деятельного участия в сладком таинстве. “Хорошо, — говорила замученная мама, — когда надо будет украшать салат, я тебя позову. А сейчас иди, ты мне мешаешь”. Украшался салат красочным грибом мухомором, сооруженным из очищенного крутого яйца и половинки помидора, по поверхности которого располагались майонезные крапинки. Красота.

Отец, вбегая каждые пять минут в кухню, нервно произносил ритуальное: “Ничего же нет, все же уйдут голодные”. Мама говорила: “Хватит! Лучше пойди перелей водку в графин!” Да-да, водка обязательно должна была быть только в графине, и никак иначе: считалось, что водочную бутылку на стол ставят только самые отпетые. Бутылка со скучной казенной этикеткой на праздничном столе — это признак крайней степени социальной неустроенности, морального падения и энтропии.

Потом приходили гости, лунатически кружили по комнате и всячески старались не смотреть на нарядный стол, из соображения приличий опасаясь обнаружить столь же пламенный, сколь и низ-

менный интерес. Потом отец произносил самое заветное. Он говорил: “Прошу к столу!”

И начинался праздник, который навсегда с тобой, даже если ты, достигнув мятежных юных годов, начинал тяготиться им, смотреть на него глазами утомленного скептика, иронически и мудро взирающего на монотонную мешанскую рутину родительского, уже не твоего быта и вообще бытия.

Но это все будет потом. Все то, от чего ты, дурачок, начинал досадливо морщиться спустя несколько лет, воспринималось тогда даже не как должное, а как некое циклически воспроизводимое чудо, вроде как всякий раз внезапно зазеленевшая липа в твоём дворе, как умирающее и воскресающее божество.

“Все налили? Тогда я скажу, если можно”. — “Т-ш-ш-ш!” — “Передайте, если не трудно, вон тот салатик..” — “Леночка, пирожки — м-м-м-м! Нет слов, одни эмоции”. — “Нет-нет, мне только половинку. Давление”. — “А хозяйка присядет за стол хотя бы на минуточку?” — “Бегу, бегу! Я забыла холодец. Вечная история”. — “Ну! Между первой и второй...” После первой и второй начиналось сосредоточенное жевание, а я как надежную гарантию

незыблемости порядка вещей ждал, когда кто-нибудь произнесет неизбежное: “Товарищи, а вы заметили, что стало как-то очень тихо?” И дожидался. И все благодушно смеялись. И я.

Потом в комнату вносилась, допустим, индейка. Вносилась она почти столь же торжественно, как знамя дружины в актовЫй зал во время пионерской линейки. Но вносилась она не под горн и барабан, а под традиционный одобрительно-восхищенный вокализ “у-у-у-у!”, исполняемый сводным хором гостей. В хоре был и солист, играющий роль шутаскептика и не очень искренне восклицающий: “Предупреждать надо было! Не поместится”. Помещалось, тем не менее.

Потом, как уже было сказано, началась неизбежная юность. И душа рвалась прочь от отсталого ритуала в сторону мятежной альтернативы. Альтернатива заключалась, как правило, в дерзновенном отказе от салата оливье и трудоемкого холодца в пользу сыра сулугуни и кое-как вымытых пучков кавказской травы с Черемушкинского рынка. Ну, еще антрекоты из кулинарии. Ради того чтобы употребление этого чуда прогресса не было чревато

серьезными стоматологическими последствиями, антрекоты перед жаркой надо было лупить смертным боем, вкладывая в этот очистительный процесс всю накопившуюся злобу на постылый советский мир, включающий и мир отчего дома.

А самое главное и судьбоносное — это то, что прямо посреди стола утвердилась во всем своем революционном бесстыдстве бутылка водки.

И так далее. И неуклонно исчезающая из нашего быта привычная, как пленумы ЦК, провизия. И медленное привыкание к совсем непривычным вещам вроде бутылки джина или коробки английского чая, присланным тебе твоим двоюродным братом с okazji из Бостона. И аскетические посиделки времен поздней перестройки, изредка украшаемые неожиданными подарками судьбы (“Приезжай, у меня есть четвертинка”. — “Ура! Еду. А у меня есть триста граммов сыра”).

И так до нынешних странных времен, когда несколько эпох домашних застолий стремительно уходят даже не в историческую, а в какую-то археологическую перспективу. И звонок по мобильному телефону: “У меня завтра день рождения. Приходи

в “Маяк”. И поиски стола подальше от динамика. И каждый ест что-то свое. И каждый пьет что-то свое. И каждый говорит что-то свое. И в общем неоформленном гуле слышится чья-то досада на то, что завтра надо переться на родственный юбилей. Досада, смешанная со стыдным предвкушением человеческой еды и горько-сладкого прикосновения к собственному детству.

Мне четырнадцать лет

Заголовочек — это не только цитата из Пастернака, поэта, удивительным образом умевшего профильтровывать глобальные исторические события сквозь грудку кое-как накиданных мелочей и пустяков субъективного чувственного опыта. Грозная история не замусоривалась и не облеплялась частными биографическими наслоениями, а выходила, напротив, очистившейся от безысходной пошлости и кислой скуки учебников и брошюр. Выходила живой, дышащей, то есть такой, какой и должна быть история.

Это не только цитата, но и бесстрастная констатация того биографического факта, что в тот день,

о котором я вспоминаю, мне было именно сорок четыре года — чувствительнейший, надо сказать, возраст.

Я помню этот день во всех мельчайших и подчас довольно причудливых подробностях.

Во-первых, была фантастически прекрасная весенняя погода — теплая, сухая и ослепительно солнечная. Если я ничего не путаю, то именно в этот день я впервые в том году пошел в школу без пальто — в одной лишь школьной форме и даже, страшно подумать, без галош.

У школьных ворот я встретил друга Шухова, большого выдумщика. Он сказал: “Погодка-то, а?” Мы с ним были знакомы довольно близко, поэтому продолжения не потребовалось. “Да, — ответил я тоскливо, — хорошо бы как-нибудь это, того... Да только как?” Он тоже неплохо знал меня, поэтому смысл моей косноязычной реплики уловил с ходу. “А я сейчас заболею и отпрошусь”, — сказал он не без хвастливости. “Это как это?” Его круглые румяные щеки и веселый, не без шкодливости взгляд с болезненным состоянием его организма увязывались плоховато. “Сейчас покажу”, — сказал он и вынул из портфеля желтоватый брикетик мыла “Банного”.

“Вот смотри — двоюродный брательник научил”. И он, поклонив мизинец, густо намылил его, засунул поглубже в нос и энергично в нем повертел. Потом он проделал то же самое и во второй ноздре. “Теперь глаза у меня будут красные, и я буду здорово чихать, вот увидишь”.

Мы вошли в класс и сели. Вошла математичка Зоя Корниловна, ужасная, между прочим, стерва. Сидевший слева от меня Шухов напряженно ждал результата, нетерпеливо подергивая носом. “Глаза покраснели?” — спросил он меня минут через десять-пятнадцать, шепотом, разумеется. Я посмотрел. “Да вроде да”, — неуверенно сказал я. “Ну ладно”, — решительно, но и с некоторой обреченностью прошептал он и поднял руку. “В чем дело, Шухов?” — слегка раздраженно спросила Зоя Корниловна, которая знала Шухова хотя и не так близко, как я, но все же знала. “Я это... плохо себя чувствую”, — по возможности умирающим голосом сказал он и в этот же миг, словно по заказу, оглушительно чихнул.

Но он мало того что чихнул. Из его левой ноздри выдулся маленький, но стремительно разрастающийся мыльный пузырь. Сам Шухов поначалу

пузыря не заметил, а потому некоторое время продолжал — довольно, признаться, топорно — изображать лицом сен-сансовского лебедя в исполнении Галины Улановой. Пузырь между тем, надувшись до критических размеров, торжественно отделился от шуховского носа и пустился в автономное воздухоплавание.

Зоя Корниловна, я, весь класс, а потом и сам виновник торжества некоторое время в гробовом молчании наблюдали за своевольной траекторией летающего объекта, гипнотически сверкавшего на жизнерадостном апрельском солнце всеми семью цветами спектра. Тут Шухов чихнул еще раз, что выглядело уже совсем глупо, тем более что в этот раз дело обошлось даже без пузыря.

Впрочем, до освобождающего массового хохота, а также до ритуального посрамления мнимого большого дело дойти так и не успело. Потому что в класс стремительно ворвался завуч Дронов Иван Тихонович. Ну да, тот самый, который вел у нас в пятом, кажется, классе историю древнего мира и говорил “лаброврадельческое государство”. Так мы его, естественно, и называли.

Вбежав, он сказал: “Срочно включайте трансляцию”. И, ничего не объяснив, убежал в следующий класс. Пузырь, обиженный стремительной потерей к нему всеобщего интереса, беззвучно лопнул, а Зоя Корниловна включила школьную трансляцию. В трансляции что-то, как полагается, потрещало да пошуршало, после чего голос директора Семен Григорьевича сообщил нам о том, что человек в космосе и что этого человека зовут майор Гагарин.

С оглушительным кавалерийским “ура” мы выбежали во двор. И к чему в большей степени относилось это “ура” — к человеку ли в космосе или к тому, что по этому случаю отменили занятия, — совсем и не важно. Все эти прекрасные и яростные события, включая погоду и радужный мыльный пузырь — эффектный, хотя и эфемерный предвестник события мирового масштаба, — слились в единый мощный источник нашего еще не замутненного житейскими заботами и тревогами подросткового восторга.

Все остальное будет чуть позже. И абсолютно неформальное, никем не организованное, не контролируемое начальством и вполне деидеологизированное по своему духу массовое ликование на улицах

и площадях родного города. И самодельные торопливые плакаты на кусках ватмана с надписями типа “Ура, мы в космосе!!!”.

Чуть позже будет и торжественная встреча Юрия Гагарина на Красной площади. И сияющее детской радостью лицо Хрущева. И та немыслимая слава, которая перекрывала даже славу вратаря Яшина или артиста Райкина, а такое совсем недавно и представить себе было невозможно. И поездка по всему миру, очарованному его простодушной улыбкой. И учрежденный Верховным Советом День космонавтики. И новомодные девчачьи прически с двумя смешными хвостиками, немедленно получившие название “Полюби меня, Гагарин”. И ремешки для часов с маленькой кругленькой черно-белой фотографией первого космонавта. Эти ремешки держались очень долго — чуть не конца 1970-х годов. Совсем недавно такой ремешок я обнаружил в Берлине на блошином рынке. Но не купил. Может быть, и зря — память все-таки.

Машинка времени

Никакого информационного повода нет. Точнее, есть, но, так сказать, сугубо личный, общественно не значимый, и вообще никакой это не повод, а всего лишь нежданная находка. (Да-да, дорогой взыскательный читатель, я решил начать вполне традиционно, как начинали свои судьбоносные сочинения многие поколения отечественных рассказчиков и очеркистов. И ничего, отлично себя чувствовали, между прочим. Чем мы хуже? Или лучше?)

Короче говоря, в процессе очередной безуспешной попытки привести хоть в какой-то порядок недра

своего письменного стола я вдруг вынул из ящика плотную пачку тонкой бумаги черного цвета, которая с одной своей стороны вроде бы ничего особенного, а с другой — неприятно пачкает руки. Сколько лет пролежала, а все еще пачкается — вот ведь делали на славу в старину-то. Для людей постарше, уверен, ничего объяснять не надо, а тем, кто помоложе, полагаю все же нелишним пояснить, что это была пачка копировальной бумаги, или попросту копирки, непостижимым образом пролежавшая в моем столе бог знает сколько лет.

Эта находка немедленно отозвалась пробуждением мускульной памяти. Я сразу же вспомнил все те мелкие телодвижения, какими сопровождались манипуляции с закладыванием этих пачкающихся листочков промеж листков писчей бумаги, заправка всей этой громоздкой и ускользящей конструкции в каретку пишущей машинки...

О машинка, о вожденная греза моей бедной юности! Как-то так получилось, что у меня ее не было довольно долго. И достать было нелегко, и денег особенно не было. Но мечтать, как говорили тогда, было не вредно и даже полезно. Я и мечтал,

тем более что самосознание юного стихотворца казалось не вполне легитимным без вещественного, весомого (во всех смыслах этого слова) атрибута цеховой принадлежности.

Как же, как же! Я отлично помню и никогда не забуду свою первую машинку. Это был дореволюционный “Рейнметалл” — красивый, громоздкий и трескучий, как мамина подруга тетя Оля из соседнего подъезда. Как и тетя Оля, этот шикарный предмет являл собою несомненный центр любой композиции и солировал в любом хоре. Он умел обращать на себя внимание.

Я купил его по дешевке у своей приятельницы Иры С., которая, будучи к тому времени практически профессиональной машинисткой и подрабатывая перепечаткой произведений различных советских писателей, приобрела себе шикарную по тем временам “Эрику”, ту самую, что “берет четыре копии”, а старенький, но все еще могучий “Рейнметалл” достался мне.

Ира принимала заказы не только от узаконенных писателей, но и от “несоюзных” графоманов — какая ей разница, в конце-то концов, платят, и слава богу. Копии некоторых нетленок она иногда сохраняла

для себя, угощая ими своих друзей и знакомых. Был, например, у нее один яркий клиент — вышедший в отставку пожилой генерал, решивший посвятить свой вынужденный досуг литературному сочинительству. Он сочинял пьесы. Пьесы его в основном были про заграничную жизнь. Некоторые места мне запомнились. Ну, например, встреча двух американских миллиардеров. “Мистер Джонс: “Мистер Смит, не хотите ли покушать?” Мистер Смит: “Спасибо, я покушаю”. (*Кушает.*)”. Чуть погодя мистер Джонс предлагает мистеру Смигу чашечку кофе таким образом: “Не угодно ли кофе? Кофе хороший. Настоящий”.

Ну и еще было там много чего волшебного.

Впрочем, мы отвлеклись. Общая стоимость моего “Рейнметалла” увеличилась едва ли не вдвое, потому что такого зверя можно было увезти домой только на такси, причем из Беляева. Но он был привезен, установлен на почетное место и был вполне готов к активному участию в изготовлении шедевров. Забегая вперед, скажу, что если что-то и влияло на постепенное улучшение качества моей словесной продукции, то, к моему глубокому разочарованию, это был не он. То есть не она, машинка.

Но это все потом, а пока я ходил вокруг него, протирая тряпочкой его запылившиеся клавиши и всячески им любовался. Несмотря на связанные с ним расходы, я посчитал все же необходимым устроить в его честь небольшой праздник и пригласил несколько друзей это дело отметить.

Друзья пришли, приобретение одобрили и стали отмечать. Один из них привел с собой барышню, которую я видел в первый и, к счастью, последний раз. Почему к счастью, станет ясно чуть позднее.

Другой гость явно положил на эту барышню глаз, потому что, будучи в принципе человеком остроумным, в этот раз он шутил довольно топорно и, главное, очень громко. Каламбур, показавшийся ему удивительно удачным, он в течение вечера повторил раз пять, не меньше. Время от времени, поднимая свой бокал, он говорил: “Выпьем же за счастливого обладателя пышущей мошонки!” По-моему, шутка так себе. Но все смеялись, а шутник громче всех.

Барышня же сидела молча и довольно мрачно, незаметно напиваясь “Саперави”, которое я закупил в довольно-таки товарных количествах. В какой-то

момент она встала, подошла вплотную к виновнику торжества, зачем-то еще и нагнулась над ним и изверглась бурным красным фонтаном прямо на его нежную клавиатуру. Немая сцена. Затемнение.

Много видел на своем веку этот “Рейнметалл”, но такому, кажется, оскорблению еще не подвергался. По причине ли своего уязвленного самолюбия или по той, более очевидной, причине, что мокрая тряпочка никак не могла достичь потаенных глубин его тонкого и многообразного организма, он довольно долгое время отзывался на попытку общения с ним отчетливым характерным запахом. А поначалу еще и брызгался, подлец.

Но все проходит. И обиды тоже. И машинка эта, крепкая как кирпич и работающая как мул, прослужила мне верой и правдой много лет, пока не была заменена на что-то более отвечающее эпохе. Потом ушла и сама эпоха, и на моем столе появился мой первый компьютер, по клавишам которого я, привыкший к пишущей машинке, поначалу грохотал с нечеловеческой силой. Потом ушло и это.

Все быстро забывается. Включая то, что много лет составляло вещественный и существенный фон

твоего существования. Пишущие машинки, ленты для пишущих машинок, приобретенная по блату пачка финской бумаги, пузырьки с белой замазкой, копирка...

Вертя в руках пачку этой копирки, я долго размышлял, что же мне делать с ней. Куда девать? И не придумал ничего лучшего, чем положить ее туда же, откуда я ее взял.

Где же ты, моя Сулико?

Почему-то вдруг вспомнил. Когда-то я состоял в приятельстве с одной сильно пожилой дамой из “бывших”, то есть из старомосковской дворянской семьи.

Вообще в годы моей юности таких милых старорежимных московских старушек было довольно много. Все они, как правило, тихо доживали в коммуналках в районе Бронных улиц, Арбата, Пречистенки, Неглинной, Сретенки, Покровки. Их можно было видеть на бульварах и в скверах, а также в булочных, в молочных и овощных магазинчиках, в прием-

ных пунктах химчистки, в районных библиотеках. Они были узнаваемы по какой-то особой осанке, по манере речи, по стареньким, но элегантным шляпкам, вытертым сумочкам, оплешивевшим муфтам. Они были приветливы и терпимы к чужим слабостям, что и служило во все времена несомненным признаком породы. А некоторые из них были даже и словоохотливы, что меня, любопытного юношу, стремившегося уцепиться хотя бы за мизерный обломок той затопленной Атлантиды, которая звалась Серебряным веком, очень вдохновляло. Они легко и доверчиво шли на знакомства с молодежью, жизнь, интересы и ценности которой, видимо, интриговали в свою очередь и их. В те годы даже мимолетно брошенная цитата из, допустим, Гумилева служила безотказным паролем, пропуском в их заветный затерянный мир.

Они довольно туманно вспоминали о послереволюционном периоде своей жизни, отделяваясь полунамеками о стинувшем в пекле гражданской войны женихе, о покойном муже “без права переписки”, о собственных мытарствах — ссылках, а то и лагерях. Но охотно и подробно с разной степенью

достоверности рассказывали о детстве и ранней юности. Не без кокетства упоминали о девичьих флиртах и увлечениях. В этих рассказах мелькали в числе прочих и очень даже прославленные имена. В соответствии с распространенным в те годы московским мифом из всех многочисленных объектов этих романтических приключений с наибольшей почему-то частотой упоминались два имени — Рахманинов и Станиславский. Прямо как сговорились.

Они были, повторяю, милы и приветливы, но и капризны необычайно. В магазине “Диета” на Арбате они буквально не давали спуску издерганым очередями и дефицитом продавщицам, требуя от них “сто граммов ветчины, и попостнее, пожалуйста”. “Да где же я вам возьму попостнее? — праведно возмущалась продавщица. — Что вот тут лежит, тем вот и торгую!” “А вы уж поищите, сделайте милость”, — мягко, но твердо настаивала старушка. И та находила-таки, после чего долго ворчала и укоризненно качала головой.

А та дама, про которую я вспомнил, была женщиной и вовсе необыкновенной. Десять лет лагеря и семь лет ссылки. Зимой ежедневно — лет до вось-

мидесяти пяти — коньки в авоську и на замерзшие Патриаршие пруды. Летом, весной и осенью — лет до девяноста — долгие гуляния по всему Бульварному кольцу. Сухая и легкая, она ходила стремительно, как будто под парусом, угнаться за ней было не так просто.

В ее рассказах никаких Станиславских с Рахманиновыми не было. Там были другие. Например, Мандельштам, который “всегда забегал к нам во Вспольный (а мы с покойной сестрой жили тогда в первом этаже), когда ему вдруг приспичивало по-маленькому”. В это почему-то верилось.

В ее повседневной речи старорежимная институтская церемонность переплеталась, что было вполне объяснимо и, между прочим, по-своему изящно, с лагерными словечками. “В лагере я затеяла сочинять поэму, — рассказывала она, — и даже половину написала. Но все пропало”. “Почему же пропало, — спрашивали ее, — начальство отняло?” “Да нет, — просто отвечала она, — блатары, падлы, растащили все на подтирку. Да, в общем-то, и не жалко: поэмка-то, если совсем откровенно, была то еще фуфло”.

А еще она рассказывала, как в лагере два раза в год, на Седьмое ноября и на Первое мая, зэкам выдавали по крошечному кубику сливочного масла. “Мы в отличие от всех прочих масло не ели”, — говорила она. “Мы — это кто?” — “Ну мы.. Ну вы понимаете...” Слово “дворянка” применительно к себе самой она старалась употреблять как можно реже, видимо, из чувства природного демократизма. “Мы масло не ели. Мы им смазывали руки”. Позже этот, видимо, ставший бродячим сюжет про масло мне приходилось читать в чьих-то еще лагерных воспоминаниях, и даже, кажется, не один раз, но услышал я его впервые именно от нее.

Однажды она сказала: “Хрущеву я прощаю многое за то, что он освободил миллионы из лагерей. Меня в том числе. Ему это, конечно же, зачтется. А еще мы с ним сходимся в двух вещах”. — “Это в каких же?” — “Я тоже, как и он, терпеть не могу абстрактную живопись и тоже обожаю кукурузу, причем во всех видах”.

Внутреннее стремление и постоянная готовность найти хоть что-то общее, пусть и максимально поверхностное, между собой и любым другим

человеком, даже если этот человек предельно далек от тебя по духу, найти в каждом, даже и в отпетом моральном уроде, даже и в кровавом преступнике, хоть что-то человеческое меня не очень удивило. Она была человеком по-настоящему верующим, и лишь это обстоятельство, по ее собственному убеждению, помогло ей пережить ВСЕ ЭТО без особой деформации внутренней душевной структуры.

Но по юношескому своему безжалостному коварству я все же не удержался и спросил: “А со Сталиным у вас тоже есть что-нибудь общее?” “Вот с ним — нет”, — сказала она твердо и заметно потемнела лицом. Но, подумав, все же прибавила: “Хотя почему же? Я, как и он, очень люблю песню “Сулико”.

Она жила очень долго. Когда ей исполнилось 95 лет, она сказала: “Не хотелось бы дожить до ста”. — “Почему? Это же интересно”. — “Ничего интересного. “Столетняя старуха” — это, согласитесь, звучит совершенно омерзительно”. Она и не дожила до ста — умерла то ли двумя, то ли тремя месяцами раньше.

Триумф Ква-Ква

Ну вот, отгремели салюты, отгрохотали парады, слегка отхлынуло разливанное море горделивой, со скупой слезинкой казенной пошлости, отбарабанили споры по поводу того, что именно следует считать фальсификацией истории.

Праздник закончился. А послевкусие от него осталось, и игнорировать его затруднительно.

Еще накануне шумливых торжеств один из моих друзей, любознательный и неравнодушный человек, обнаружил где-то в дебрях Всемирной паутины яркий образец рекламно-патриотического жанра.

И заботливо прислал мне ссылку на него. Документ, скажу заранее, исключительный по силе, убедительности и убийственной наглядности.

Я не могу не привести его полностью. Читайте его внимательно. Вчитывайтесь в каждое слово. В нем, как говорится, нет ничего лишнего. Вот он:

Дискотека “*Shine!* Ночь Победы”

Этот праздник, такой вымученный и долгожданный, подарили нам когда-то наши бабушки и дедушки. Праздник, гордость за который превращает его в нечто большее, чем просто красный день календаря. Праздник, который просто необходимо отметить особенно. Только 7, 8 и 9 мая, три ночи подряд, *Shine!* представляет беспрецедентное по размаху празднование Великой Победы.

В самом большом аквапарке России “Ква-Ква” почувствуйте себя настоящим участником событий 65-летней давности, преодолевая крутые склоны горок, проходя через непролазную чащу высоких пальм, проплывая моря-бассейны, сражаясь с волнами, а устав от боя — передохнув за линией фронта с заботливыми *go-go*-сестрами под задушевные *house*-мелодии. И конечно, победа не заставит себя долго ждать!

Все понятно, да?

Здесь настолько прекрасно ВСЁ, что даже удивительное само по себе словосочетание “вымученный и долгожданный” кажется вовсе не каким-то особенным, а вполне респектабельным и даже не очень “вымученным”, хотя и не слишком “долгожданным”.

В общем, “Go-go-братья и go-go-сестры! К вам обращаюсь я, go-go-друзья мои! Вероломное военное нападение... на нашу Ква-Ква” и так далее. Мороз по коже и слезы из глаз.

Разумеется, понятно, что этот документ относится к числу “крайних”, что он вовсе не в мейнстриме торгово-патриотического дискурса. Но он весьма симптоматичен в своей непристойной обнаженности.

Мы живем в эпоху катастрофической расшатанности и разбалансированности семантического поля. Слова употребляются не согласно значениям, а в соответствии с теми эмоциями, которые они вызывают или могут вызвать.

А у слов между тем есть значения, и это было бы неплохо знать. Их этимологию — тоже. Я вот заглянул на днях в этимологический словарь Шанского

на предмет происхождения слова “Победа”. И вот что прочитал: Происходит от др.-русск. ”побѣда”, также в знач. “поражение”. Ср.: победный, также в знач. “несчастный” (победная головушка). Предположит. от “беда”, “бедить”.

Это так, всего лишь для примера, всего лишь для того, чтобы показать, что этимология — полезная наука, а словарь — полезное чтение.

Но на данном отрезке исторического времени из всего пучка значений того или иного слова самым, если не единственно “работающим” оказывается то, которое обнаруживает способность к конвертированию в денежные массы.

Поэтому все эти победные сатурналии с танками и самолетами, все эти выполненные в захудалой стилистике 1970-х годов нежнейшие плакаты с трогательными стариками-ветеранами, все эти “помним, гордимся” в нынешней социалингвистической ситуации — всего лишь слоганы и прочие бренды-тренды новейшего времени, где пропаганда осуществляется не силами изнуренных Высшей партшколой идеологов, а борзыми рекламщиками-копирайтерами. Причем отчаянно бездарными,

демонстративно ленивыми и тотально безответственными — хоть в профессиональном, хоть в гражданском, хоть в моральном смысле.

И все эти сталины на бортах троллейбусов — это никакие не сталины, а бренды, торговые марки, реальные или потенциальные водочные этикетки.

Водка — один из самых универсальных продуктов национального духа. Поэтому водка “Генералиссимус” с соответствующим портретом на этикетке или водка “Модернизация” с тоже понятным портретом появятся если и не в ближайшее время, то чуть позднее.

А страна будет существовать до тех пор, пока будут существовать — сколь бы ничтожным ни было их число — носители языка.

А под носителями языка я понимаю в данном случае не всех тех, кто повседневно пользуется языком как палкой для выковыривания пищи из-под земли или как простейшим способом запугать одних, задобрить других, заморочить голову третьим или трахнуть четвертых. Носители языка — это люди, все еще способные понимать смысл слов и придавать значение их порядку.

Все по порядку

Недавно барышня-интервьюерша задала мне среди прочих и неизбежный вопрос о том, кто мой читатель, как я его себе представляю. При этом она попросила ответить максимально коротко. Я сказал, что коротко на этот вопрос ответить довольно затруднительно. “А вы все-таки попробуйте”, — попросила она. Я попробовал и, озадачив своим ответом не только ее, но некоторым образом и самого себя, сказал: “Мой читатель — это тот, кто умеет читать”.

Коротко так и не вышло. Все равно пришлось объяснять. Пришлось сказать, что это только кажется,

будто читать умеют все, кто знает кириллические буквы и умеет складывать их в слова. Что, по моим наблюдениям, людей, способных воспринимать текст на уровне не только отдельных слов или словосочетаний, но и цельного высказывания, становится все меньше и меньше. Все меньше и меньше становится людей, умеющих воспринимать индивидуальную интонацию и порядок слов в предложении как содержательную категорию.

И это не только мое наблюдение. Как-то я провел вечер в обществе двух школьных учителей. Словесник жаловался, что большинству нынешних подростков совершенно невозможно объяснить, в чем прелесть, например, прозы Гоголя. Они, видите ли, воспринимают текст лишь с точки зрения конкретного сообщения — информации, внеположной художественным задачам. Им надо непременно знать “о чем”. Если это сразу же не понятно, любой текст воспринимается как смертная тоска и вообще отстой.

Математик сказал, что да, с подобной проблемой сталкивается и он. “Как это? — удивились мы со словесником. — Математика же вроде как точная дисциплина. Какой уж там порядок слов?” “Не ска-

жите, — ответил математик. — В последние годы я все чаще и чаще замечаю, что некоторые ученики, причем вовсе не тупые, с большим трудом понимают условие задачи. Им необычайно трудно воспринять смысл более чем одного предложения. Я давно заметил, что условие задачи гораздо легче понимают те, кто читает книжки. А с этим, как я понял, большие проблемы”.

Я не учитель. Я автор. И я все чаще замечаю, что очень многие воспринимают любой текст лишь на уровне отдельных слов. Более того, многие всерьез убеждены, что бывают слова хорошие или плохие сами по себе. Мне приходилось слышать что-то вроде того, что бывают “пошлые слова”. Под “пошлым” очень часто понимается “неприличное”, хотя хорошо известно, что пошлым как раз чаще всего оказывается именно “приличное”. Приходилось ли тебе, читатель, слышать нечто вроде того, что “это хороший анекдот, но пошлый”? Я уверен, что да, приходилось. И довольно часто. Хотя, если задуматься над этой расхожей формулой, нельзя не задаться законным вопросом: “Так хороший он или все-таки пошлый?” Что-нибудь одно.

Дело, разумеется, не в том, какие слова используются в тексте. Дело лишь в их уместности в данном контексте. Дело лишь в их точности и мотивированности. Людям, привыкшим воспринимать текст не как осмысленный порядок слов, а как их случайный набор, объяснить это затруднительно. Эти люди из любого текста выуживают лишь слова, кажущиеся им ключевыми, концентрированным содержанием всего текста вообще.

Выбор этих “ключевых” слов или в лучшем случае словосочетаний осуществляется в буквальном соответствии с известной поговоркой “у кого чего болит”. “Болит” — в данном случае слово вполне точное, потому что болевые точки у каждого индивида либо социальной группы разные.

Эти слова, служащие столь же простыми, сколь и безотказными источниками эмоционального возбуждения, могут быть самыми разными. Это может быть, например, “Россия”, или “Ходорковский”, или “патриотизм”, или “Сталин”, или “жопа”, или “евреи”, или “Америка”, или “сиськи”, или “Грузия”, или “бог”, или “Бог”, или “Катынь”, или “Сколково”, или “аборт”, или “гнида”, или “Путин”, или “право-

славие”, или “Олимпиада в Сочи”, или “модернизация”, или “Народный фронт”.

И притом абсолютно игнорируется то важное обстоятельство, что слова употребляются не только в прямых, но и в переносных значениях. И значения слов с разной степенью интенсивности мерцают и колеблются, а то и попросту деформируются в зависимости от слов-соседей.

Вследствие такого “чтения” эти отдельные слова в сознании людей, не умеющих читать, раздуваются до циклопических размеров, застят свет, мутят рассудок и в результате лопаются со страшным шумом и с риском с ног до головы забрызгать окружающих.

Я говорю не о “падении культурного уровня” — еще чего не хватало. Культура во все времена существовала под аккомпанемент разговоров о падении культуры, о смерти искусства и прочих эсхатологических вещах. Но она существовала и существует. И будет существовать — куда она денется. Она, строго говоря, только одна и есть в нашем злополучном отечестве. Она одна — при полном исчезновении политической и общественной жизни — только

и держит на своих хрупких плечах это громоздкое нелепое сооружение.

Я говорю не о ней, не о культуре. Я говорю о социальной патологии, принимающей самые разнообразные формы. В том числе и такую причудливую форму, как массовое игнорирование синтаксиса. А история между тем и есть синтаксис. Потому что история — это не набор слов и даже не набор фраз. Это их порядок. Когда рушится порядок слов, рвется и без того хлипкая связь времен.

“Порядок должен быть восстановлен”, хотелось бы сказать мне, да ведь набегут, да ведь растащат в разные стороны “порядок”, “должен” и “восстановлен”.

Но я все равно это скажу. Для тех, разумеется, кто умеет читать.

Косвенная речь

Разговор о цитатах уместно и начать с цитаты. Даже сразу с двух. “Цитата не есть выписка. Цитата есть цикада”. Это Мандельштам. А вот и Анна Андреевна: “Но, может быть, поэзия сама — одна великолепная цитата”. Может быть. И даже скорее всего. И даже не всегда великолепная.

Существует особый род цитат, называемых обычно “крылатыми словами”. Это цитаты, так сказать, окаменевшие. А просто цитаты, соответственно, суть потенциальные крылатые слова. Что-то вроде

того, что если архитектура — это застывшая музыка, то тогда музыка — вроде как жидкая архитектура.

И любые слова, выстроенные в определенном порядке, — это потенциальная цитата. Можно ли, например, словосочетание “мой дядя” считать цитатой из Пушкина? Интересный, как говорится, вопрос.

Цитирование, то есть отсылка к авторитету, как бы придает собственному соображению дополнительную весомость, а то и легитимность. “Ну я-то ладно, я кто такой. А вот так же примерно думал вон кто”. Поди-ка поспорь с Федмихальчем, Антонпальчем или Ильфпетровичем.

Не подумайте только, что я противник инструментального цитирования. Напротив даже. Тем более что русская и мировая классика потому и классика, что в свое время она проделала за нас ту самую умственную и нравственную работу, плодами которой мы и пользуемся. А уж кто с пользой, а кто с вредом, это, что называется, зависит.

Читая, перечитывая и обильно цитируя классику, мы всякий раз изумляемся сразу двум вещам: во-первых, тому, что никто по-настоящему ничему

не учится и не хочет учиться, во-вторых, тому, что ничего принципиально нового в этом мире не случается — меняется лишь фактура жизни при неизменной ее структуре. Вот вы, допустим, совершенно случайно натыкаетесь на такую фразу: “На патриотизм стали напирать. Видимо, проворовались”. И если эта фраза не была бы подписана именем Салтыкова-Щедрина, едва ли бы вы сообразили, что речь там идет о второй половине XIX века, а не о начале XXI.

Цитирование классики не только служит убойным аргументом в споре, а также универсальным паролем для распознавания своих или чужих. Оно как бы обозначает связь времен, пускай и зыбкую. Убеждает, что история наглядна. Напоминает, что не все с нас началось и нами закончится.

Существуют еще и различные этикетные нюансы цитирования, различные более или менее устойчивые приемы внедрения цитаты в ткань собственного высказывания. Если, скажем, цитирующий пойдет с кокетливого “как сказано у кого-то из великих”, то мне и сама цитата будет не впрок.

И уж вовсе неконтролируемые судороги отчетливого омерзения вызывают у меня выражения

типа “как в подобных случаях говаривал, бывало, такой-то”. Особый шик — это когда “такой-то” обозначается посредством имени-отчества, но без фамилии.

Ну да, конечно, прямо так вот и “говаривал”. Причем непременно — “бывало”. “Чем, типа, меньше, — говаривал он, хаживая в драных тапках по натертому, бывало, паркету своего кабинета, — женщину мы любим, тем, короче, легче нравимся мы ей!” “Ай да такой-то! — время от времени восклицал он, имея в виду самого себя и весело поигрывая кистями своего халата. — Ай да сукин, как говорится, сын!”

Самое, конечно, страшное, когда цитируемые авторитеты “говаривают” не своими собственными словами, а словами своих персонажей, причем не всегда мудрых и добродетельных. И говаривают они совсем не то, что говаривал бы, бывало, сам автор.

“Мне не смешно, — цитирует время от времени строгий гражданин, ревнитель и добровольный сторож всего высокого и нетленного, — когда маляр негодный мне пачкает”, совсем при этом упуская из виду, что про маляра говаривал вовсе не поэт

Пушкин, а некий персонаж некоей не очень большой трагедии. Этот персонаж звался Сальери. Ага, тот самый, что под гнетом неразрешимых противоречий между алгеброй и гармонией траванул друга Моцарта, плюхнув в его бокал чего-то вредного для здоровья, для чего ему пришлось не без сожаления распатронить последний дар Изоры.

Цитата в наше время — куда больше, чем цитата. Согласно распространенному взгляду на современную культуру, ее можно рассматривать как уже готовый, законченный текст. Невозможность прямого высказывания, обреченность на цитату — один из главных мотивов современного искусства. Память жанра, память ритма, память стиля — наиболее интенсивно работающие механизмы современной художественной практики. Не только художественное, но и обиходное речевое поведение — это лишь обмен цитатами. Мы цитируем не только тексты, но и интонации, и стили, и типы сознания. Мы и сами в каком-то смысле ходячие цитаты. Это не хорошо и не плохо. Это данность, с которой можно или считаться, или нет. Ее можно пытаться преодолеть, но с ней можно и работать.

Во всех счастливых случаях эта работа бывает вполне продуктивной. В каждом несчастливом случае безудержное цитирование оборачивается пагубной и разрушающей живую и неповторимую душу страстью. Все смешалось.. Тьфу ты!

Папина “Победа”

Это, может быть, помнят те, кто постарше. Была такая в середине 1950-х годов то ли “крокодильская” карикатура, то ли картина “холст-масло” с остросатирическим сюжетом. Сюжет был такой. Стоит посреди столицы автомобиль “Победа”, очень престижный и крутой по тем временам. А рядом, облокотившись на автомобиль и самоуверенно скалясь всеми своими ста двадцатью семью зубами, стоит такой в поперек себя шире буклированном пиджачке, с заморской сигареткой в нерабочих пальчиках, с пышным коком на голове, на ногах “корочки на микропорочке”.

Одним словом, стилига, золотая молодежь, тунеядец, маменькин сынок, трутень, “чувак”, плесень на здоровом организме нашей славной трудовой и учащейся молодежи. Художественное это произведение называлось “Папина “Победа””.

Юмор там заключался в каламбурном мерцании двух значений слова “победа”. Название машины, конечно же. А второй смысл в том, что стилигин папаша — чья “Победа” — относится к фронтовому поколению. Воевал он, значит, воевал, кровь проливал на всех фронтах, победил фашиста, вернулся, понимаешь, потом растил-лелеял свое любимое чадо, потом и “Победу” приобрел на свои трудовые — и вон чего в результате получилось. Тьфу, от людей стыдно! Такая вот, значит, “победа”. Э-эх!

А еще мне вспоминается такая словесная игра времен моего детства. Берется какое-нибудь слово, и от него отсекается первая буква. Получается другое слово, которое тоже что-нибудь значит. От него тоже отсекается первая буква. Опять получается слово. И так далее. Следующий этап игры заключался в том, чтобы сочинить небольшой рассказ с использованием этих постепенно укорачивающихся слов.

Помню, что очень подходящим для этого дела оказалось слово “победа”. И рассказ получался примерно такой: “Нами была одержана победа. Но мы остались без обеда. С нами приключилась беда. У нас пропала еда. Ты ее украл?” — “Да!”

В детстве я радостно осознал лишь чисто формальное изящество этой, так сказать, новеллы. Ее глубинный экзистенциальный драматизм дошел до моего понимания лишь спустя многие годы. Так бывает с искусством: художник решает вроде бы чисто формальную задачу, а получается в результате такое, что самому становится страшно.

Это я все к тому, что “победа”, которую мы опять собираемся пышно, натужно и весьма истерично праздновать, — это слово-ловушка.

Да, это была великая и жертвенная победа. И отрицать это было бы и безнравственно, и безвкусно. Слово “победа” было оправданным и насущным в период войны — как заклинание, как звезда на горизонте нескончаемых мытарств и страданий. “Наше дело правое — мы победим”. Все правильно — победить необходимо. Без этого — смерть.

Вроде бы все правильно. В битве должен кто-то победить. По всем формальным признакам победили мы. Ура.

Но тут-то все только и начинается. И возникает столько вопросов, что не остается ничего лучшего, чем отмахнуться от всех сразу. Для чего победа? Кто от этой нашей победы выиграл? Кому она пошла на пользу, а кому во вред? Что с ней делать? Как жить дальше? Как сделать так, чтобы больше не приходилось побеждать с ТАКИМИ жертвами? Да и вообще, не будет войн — отпадет и потребность в победах.

Культ победы, как и любой культ, вреден и опасен. Но дело-то в том, что государство, подобное сталинскому или нынешнему российскому, только на этом культе и держится.

“Победа” — это ключевое слово в той этической системе, которую исповедует наша власть и идейно обслуживающий ее персонал. Без “побед” им никак. А без войн не бывает и побед.

“Победителей не судят”. “Победитель получает все”. “Историю пишут победители”. Эти звонкие, соблазнительные и при этом глубоко архаичные формулы звучат в контексте реалий и ценностей

современного мира мало того что не очень уместно, но и просто аморально. А у нас — в самый раз.

Вот мы и застряли в той самой победе. Вот мы и буксуем в ней, как полуторка в мокрой глине.

Современный цивилизованный мир тоже отмечает этот праздник. Но празднует он не "победу", а наступление мира. Мир пошел вперед. И для него в результате оказалось самым важным не то, кто кого победил. Самым главным и насущным оказалось усвоение уроков этой страшной войны. Важно не то, КТО победил, а кто и что ВЫИГРАЛ. Оказалось, что выиграл в том числе и немецкий народ, убийственным и самоубийственным своим опытом избавленный от смертоносных иллюзий исторической исключительности и национального мессианства.

А мы, как заколдованные, уже которое десятилетие все не можем выйти на свежий воздух из душного кинозала, сомнамбулически уставясь в экран, на котором, кажется, навсегда зависло слово "победа".

Поэтому спустя столько лет эта тема не перестает быть столь болезненно саднящей. А государство и общество неизменно уподобляются ребенку,

который не дает зажить болячке на локте, вновь и вновь сладострастно сдирая не до конца засохшую защитную корочку. И поэтому война у нас никогда и не кончается.

Победа — это еще не мир. Победа — это всего лишь финал войны. Это всего лишь часть войны, хотя и заключительная ее часть. Апофеоз. Помните картину “Апофеоз войны”? Вспомнили? Вот и я том же. А сверху там, если помните, вороны. Конечно, вороны — кто же еще.

Суверенный антифашизм

И до, и тем более после войны, которая закончилась вроде как сокрушительной победой самого передового строя, советская власть намертво узурпировала слово “антифашизм”, которое с годами приобрело поразительную семантическую пластичность, поистине сказочную способность сужаться или растягиваться до любых пределов и приобретать самые неожиданные, порой даже и малопредставимые формы.

Этот советский “антифашизм”, это прекрасное и универсальное изделие № 3, с необозримой

широтой и прославленной русской щедростью применяется и в наши дни. Вследствие чего “фашизмом” легко, безо всякого напряжения становится любая идеология, любое общественное дуновение, направленное не совсем в ту сторону, куда нацелены соответствующие указующие органы.

Мой немецкий приятель, филолог-славист, изучающий в последние годы язык современной российской прессы, недавно спросил меня: “Я тут в статье одного вашего правого публициста прочитал странное словосочетание — “либеральный фашизм”. Это что? Это так может быть?” “У нас — может”, — ответил я с некоторым даже раздражением, причем направленным сразу в обе стороны — на лавинообразно нарастающий отечественный идиотизм, а заодно на традиционную гибельную непонятливость европейского интеллектуала. “У нас — может, — сказал я ему. — Там, где возможна “суверенная демократия”, там может быть и “либеральный фашизм”. И прекрати уже наконец удивляться”.

Ну, насчет “удивляться” — это, конечно, я погорячился. Тем более что я и сам никак не привыкну не удивляться. И более того: я твердо знаю, что если

я когда-нибудь перестану удивляться, то это и будет означать мою интеллектуальную капитуляцию.

“Они что, Оруэлла не читали?” — не унимался европейский умник. “Читали они Оруэлла, — убежденно сказал я. — Да вот только это чтение их не ужаснуло, как нас с тобой, а очень даже воодушевило. Если хочешь знать, это и есть тайна русской казенной души”.

А потому как тут не воодушевиться нашим пламенным антифашистам, когда мелькнет вдруг в новостях такое: “В Эстонии прошел слет ветеранов эстонской 20-й дивизии СС, а также членов Союза борцов за освобождение Эстонии и Общества друзей Эстонского легиона”. И кому какое дело до того, что сообщение имело такое вот продолжение: “Неподалеку от места сбора эсэсовцев устроили акцию протеста антифашисты. Они принесли с собой колючую проволоку и фотографии преступлений нацистов.. Участники акции приняли обращение к эстонским властям о недопустимости поддержки нацистов”. Кому какое дело до того, что в свободной стране может быть и такое, и такое. Кому какое дело до того, что все эти страшные легио-

неры — доживающие свой век несчастные старики, за свое реальное или мнимое легионерство по полной программе оттрубившие на бескрайних просторах Сибири. Кому какое дело, что вместе с ними дружно трудились их соотечественники, никаким боком не имевшие отношения ни к каким легионерам, а виноватые лишь в том, что товарищу Сталину очень “хотелось кушать”.

Но нет! Фашизм поднимает голову в странах Балтии! Мы не можем пройти мимо!

Не для того “мы” спасали Европу не только от Гитлера, но и от зловредной западной псевдемократии. И ладно бы эти “балты” просто воевали на стороне Гитлера — мало ли кто воевал на этой стороне. Они воевали против своего великого и доброго восточного соседа, принесшего им свет и культуру.

Фашистами, повторяю, у нас теперь принято величать буквально всех, кто так или иначе колеблет “вертикаль”. А тут такой подарок судьбы! Легионеры! СС! Само в рот лезет.

“Прибалтийские власти нагло прикрывают сбрище нацистов, что говорит об их симпатиях”, —

гневно, как на митинге в цеху автозавода им. И. В. Сталина в 1937 году, восклицает один из интернетовских активистов антифашистского фронта.

“Голубчик, — скажу я этому активисту в назидание, — никто ничего не прикрывает. Никакое это не сборище нацистов. И ничего это не говорит ни о чьих симпатиях. Успокойтесь, голубчик. Лучше съездите как-нибудь в одну из балтийских стран и посмотрите на месте, много ли там нацизма. Ваши мантры могут иметь хоть какое-то воздействие лишь на тех, кто не читает ничего, кроме газеты “Известия”, не смотрит ничего, кроме программы “Время”, и никогда не выезжал за пределы села Хрюпина, даже если это село усилиями сельской “вертикали” разрослось до масштабов огромной страны”.

Борцы с прибалтийским “нацизмом” в качестве дополнительного аргумента любят упоминать, что при немцах эти самые легионеры очень даже преуспевали в деле окончательного решения еврейского вопроса.

Преуспевали, я в этом ничуть не сомневаюсь. Далеко не все, я уверен, но таких, разумеется, хватало. Но дело-то в том, что таких хватало не только

в прибалтийских республиках. В общем-то не такой уж большой секрет, что этому занятию с разной степенью усердия предавались представители самых различных национальных групп нашей великой страны. Пока позолоченные образцы братских народов водили сомнамбулический хоровод вокруг струй фонтана “Дружба народов”, некоторые другие, изготовленные из более дешевых материалов, на оккупированных территориях, где их застигла судьба, принимали вполне энтузиастическое участие в масштабном субботнике по наведению расовой чистоты. Безо всяких нашивок СС в основном. Без всякого “легионерства”. Для этого благородного труда вполне хватало и скромной нарукавной повязки полиция.

Давно известно, что война — это гадость всегда, даже если ты воюешь за самые светлые идеалы, за дом, за родных, за свободу. Война убивает и калечит не только физически. Она калечит души и вывихивает мозги. Она мобилизует в людях самое в них подлое и темное. Но и самое благородное и героическое — тоже. Это война.

Две мамыны тетки погибли в Бабьем Яру, потому что их выдала соседка, с которой они жили душа

в душу много лет. А другая тетка в том же Киеве спаслась, потому что соседка сначала долго прятала ее в своем доме, а потом нашла возможность переправить к своим родственникам в деревню, и никто из деревенских (а в деревне ничего не скроешь) ее не выдал.

Было все.

А в 1970-е и 1980-е годы я почти каждый год ездил отдыхать в Эстонию, в маленький рыбацкий поселок на берегу моря. Я снимал веранду у одних и тех же хозяев. В довольно большом доме жила лишь пожилая пара, муж и жена. Они мне напоминали о “Сказке о рыбаке и рыбке”. Прежде всего тем, что старик вечно чинил невод, а старуха хотя и не пряла свою пряжу, но зато день-деньской пилила своего мужа. Пилила она его, естественно, по-эстонски, а то, что она его именно пилила, я мог определить по выражению его лица — то виноватому, то раздосадованному.

Старик целыми днями молчал и даже отвечал на приветствия как-то довольно хмуро. Сначала я решил, что он меня за что-то недолюбливает. Потом я понял, что он вообще такой.

Все будние дни он в полном молчании возился с сетями, зато в пятницу вечером от души напивался. Напившись, он запрягал лошадь и со страшным грохотом катал ребятишек по главной улице поселка. Потом возвращался домой, садился на скамеечку и громко пел, причем на удивление прилично. Старуха, проходя мимо, лишь горестно вздыхала. Потом он с бутылкой мутного самогона в руке стучался в мою дверь, я его впускал, он садился, наливал в два стакана страшной дряни и на неожиданно чистом русском языке начинал рассказывать про Сибирь. Каждый эпизод своего нескончаемого рассказа, как правило, очень страшный, он заканчивал одинаково: “Ты ни при чем”.

Я и сам знал, что я вроде как ни при чем, но взглянуть ему в глаза мне было довольно трудно.

Потом приходила старуха, что-то ему выговаривала и, извинившись передо мной за беспокойство, уводила его спать. Он что-то еще немножко кричал и пел, скорее для порядка, чем по зову души, после чего затихал.

Насколько бы рано ни удавалось мне проснуться на следующий день, он всегда сидел возле своего

сарая и в полном молчании штопал сеть. На мое бодрое *tere!* он реагировал лишь хмурым коротким кивком.

В один из дней кто-то из отдыхающих шепнул мне, что во время войны мой хозяин, тогда еще почти мальчишка, пошел воевать на стороне немцев. Как и многие парни из тех мест. Выбора у них не было. Не за Красную же армию им воевать, если практически в каждой семье кто-нибудь был отправлен по этапу в Сибирь. Ну а потом, после войны, в Сибирь отправился и он.

В ближайшую пятницу все было как обычно. Старик напился, запряг лошадь, покатал детей по улицам поселка, попел, а потом пришел ко мне с заветной бутылкой. И снова он рассказывал мне страшные сибирские истории. И снова закончил свое повествование словами “Ты ни при чем”. В этот раз я все-таки решился взглянуть ему в глаза и сказал: “Ты тоже”.

Мойдодыр

Когда мне было года четыре, родители иногда развлекали мною гостей. Под преувеличенно бурные рукоплескания меня понадежнее устанавливали на табурете, с которого я — без запинки и ничуть не конфузясь — с выражением читал “Мойдодыр”. Теперь, кстати, не смог бы полностью. А тогда — пожалуйста. Была еще в моем тогдашнем репертуаре песня “Летят перелетные птицы”. Взрослых почему-то страшно забавляло, когда я сообщал городу и миру о том, что мне не нужны ни берег турецкий, ни Африка. Про берег турецкий мне сказать было

особенно нечего, а вот Африка была мне хорошо знакома — туда, в соответствии с настойчивым советом все того же дедушки Корнея, детям не полагалось ходить гулять.

Но гвоздем программы был все-таки “Мойдодыр”.

И любопытно, что я почему-то долгое время ничуть не задумывался о значении самого слова “мойдодыр”, по звучанию напоминавшего мне одно из непонятных, но привлекательных, как и все непонятное, татарских слов, регулярно слышимых мною в нашем дворе.

Чуть позже пришло озарение, и я как-то своим собственным умом допер, что речь идет всего лишь о дырах, до появления которых рекомендуется мыть, тереть и скрести свое брэнное неповторимое тело. А душу? Нет, об этих метафизических предметах я еще не умел размышлять тогда.

Эх, дыры, дыры.

Дыра как одна из наиболее емких и универсальных метафор нашей жизни и нашей истории ведет нас, как говорится, по жизни. И пожалуйста, не надо без толку тревожить и без того беспокойный сон вен-

ского доктора, ибо, как всем известно, банан во сне вполне может означать лишь себя самого и более ничего. То же и с дырой. Не “та” дыра — другая.

Я хорошо запомнил один из вечеров середины 1980-х годов. Тогда полупризрачные вожди один за другим покидали историческую сцену, не успев даже толком раскланяться, а морок и абсурд окружающей нас реальности уже воспринимались почти на уровне тактильных и обонятельных ощущений. Мы, то есть два-три моих приятеля и я, сидели на кухне у одного из нас и говорили о том, что нам, в сущности, необычайно повезло. Мы даже, если угодно, можем гордиться тем, что нам выпала непростая, но почетная доля оказаться в самой сердцевине мирового гнойника. И ничего, живы и даже способны рассуждать и, главное, свидетельствовать. И говорили мы, что свидетельствование — это, может быть, и есть та самая миссия, каковая на нас возложена судьбой. И это далеко не самая худшая судьба. И вот ведь, говорили мы, расхаживаем мы как ни в чем не бывало буквально по кромке кратера, и вот сидим мы, беспечно болтая ногами, на самом краешке пресловутой черной дыры. И даже

не боимся в нее заглянуть. И, в общем-то, счастливы. Хотя и вот же она — черная дыра.

Через год-полтора началась так называемая перестройка, и черная дыра стала постепенно, но заметно бледнеть. Зато при тускловатом, но уже отчетливом свете дня стали заметны на вытертом до дыр теле государства многочисленные дыры, дырки и дырочки, до поры до времени завешенные портретами вождей и плакатами, сообщавшими очумевшему от бесплодной погони за туалетной бумагой населению, что оно, население, вовсе не население, а — бери выше — народ, и народ этот един с партией. О как!

Очень важно понимать роль дыр в отечественной истории. Очень неправильно эту роль недооценивать. Далеко не все, но многие вещи объясняются именно этой тотальной и неизбывной дырявостью. Потому и не работало никогда в нашей стране то, что обычно называют системой. Государство во все времена пыталось то накачать страну воздухом, и тогда этот воздух со свистом вырывался наружу, то выкачать из страны воздух, и тогда преступный иноземный воздух стремительно врывался в наше пространство.

Сквозь дырки история утекала, но сквозь них же она и втекала.

Роль дырок можно считать столь же роковой, сколь и спасительной.

Вот, например, так называемый железный занавес, как, впрочем, и все остальное в нашей богооставленной стране, тоже был дыряв. Его штопали время от времени, а иногда и очень даже суровыми нитками, а новые дырки возникали в других местах.

Та же история и с глухими заборами, за которыми хоронились от постылого народа его слуги.

Когда “занавес” окончательно превратился в ажурные лохмотья, а высоченные заборы — в совершеннейшее решето, кончилась и советская власть — куда же ей без занавеса. И без забора.

Или взять, к примеру, пресловутую “чашу терпения народного” и патетический вопрос о том, почему она никогда не переполняется. А все потому же. И она безнадежно дырява, эта чаша. Да и не чаша она вовсе, а скорее дуршлаг. Этот вывод не слишком оптимистичен, понимаю. Но что делать, если это именно так?

Веками эта самая чаша может не переполняться, но лишь до той поры, пока ее многочисленные

дырки не забьются наконец плотным слоем крови, пота, гноя, мокроты и прочих малоаппетитных выделений нашей небезоблачной истории. И тогда она, чаша сия, все-таки переполняется со всеми, извините за невольный каламбур, вытекающими последствиями. Поэтому — да минует нас..

Да, это бывает нечасто. Зато очень надолго запоминается.

Но запоминается, к счастью, не только это. Но и то, например, как маленький кудрявый мальчик в полосатом костюмчике стоит посреди счастливого, беспечного и шумного праздника на крепком довоенном табурете и с выражением декламирует “Мойдодыр”.

Печально я гляжу

Скользя одним глазом по ровной поверхности одной из многочисленных интернетовских перебранок — разумеется, о главном, то есть о судьбах страны и человечества, — я вдруг споткнулся о показавшееся мне необычайно причудливым словосочетание “совки-диссиденты”. Казалось бы, налицо явный оксюморон. Впрочем, из контекста стало ясно, что речь тут шла вовсе не о совокупности социальных убеждений, культурных ориентиров и нравственных ценностей, как это могло показаться вначале.

Речь о другом. О возрасте. О возрасте оппонента. Логика понятна: “диссиденты” — это давно, еще при советской власти. А кто провел свои детство, молодость, да и отчасти зрелость в годы советской власти? Ну разумеется, совки, кто же еще. Совки и есть.

Поколенческий шовинизм ничуть не менее глуп, неприятен и идейно бесплоден, чем шовинизм этнический, половой, сословный.

Ничего нет соблазнительнее и вместе с тем нелепее, чем говорить от имени поколения. “Мое поколение выбирает...”, “мое поколение не приемлет...” Чушь несусветная. Что может быть глупее и, главное, безответственнее? Ну разве что говорить именем “народа”, “нации” и даже профессии. “Мы, физики, любим манную кашу по утрам”.

Впрочем, я не совсем прав. Общепоколенческие черты, конечно же, существуют, и спорить с этим было бы странно.

Моему поколению, я считаю, несказанно повезло. Мы были первым поколением советской эпохи, чьи детство и юность не знали ни голода, ни войн, ни массовых депортаций, ни парализующего нутря-

ного страха, каковому почти до конца своих дней были подвержены наши родители.

Краем младенческой памяти я зацепил Сталина, но зато он не успел зацепить меня. Мои школьные годы протекли в хрущевскую пору с ее дозированной, но оглушительной по контрасту с ушедшей эпохой свободой. Свободой, чьи невзрачные семена прорастали в наших детских чувствительных душах с безудержным тропическим буйством.

На волне конъюнктурной хрущевской десталинизации в нас почти директивно внедряли критический взгляд на историю, не подозревая о том, что вслед за плохим Сталиным вполне может последовать плохой Ленин и совсем не безгрешная, мягко говоря, коммунистическая партия — вдохновитель и организатор всех наших побед. Нас заставляли участвовать в диспутах на разные идиотские темы, не подозревая о том, что помимо своей воли развивают в нас недоверие к монологическому типу общественного сознания, без которого не работает никакой тоталитарный режим.

Странная смесь из воспринятого от старших братьев — шестидесятников романтического

идеализма и тотального цинизма последующей брежневской эпохи двигала нашими поступками и намерениями.

Некоторые черты, свойственные моему поколению, можно оценивать двояко. Например, в инфантильности, мечтательности и социальной пассивности вроде бы мало приятного. С другой стороны, именно эти черты не позволяли многим сознательно и сладострастно участвовать в открытых гадостях. Для большинства из нас, выросших на фоне мощного разоблачительно-очистительного пафоса, какие-то вещи были прочно табуированы. Например, служба в КГБ. Поэтому из моего поколения в эту контору шли какие-то уже самые отпетые.

Я помню одну встречу со своими одноклассниками, случившуюся лет через семь после окончания школы. Там собрались очень разные люди — кто-то стал военным, какая-то девочка не скрывала гордости от своих полезных знакомств с богатыми иностранцами, какой-то мальчик делал комсомольскую карьеру и при этом глядел на всех слегка виновато, кто-то собирался в эмиграцию. Но как-то так получилось, что общие воспоминания

нения сыграли роль чего-то похожего на водяное перемирие. Лишь один, а именно тот, с кем девочки на школьных вечерах не хотели танцевать по причине его повышенной потливости, сообщил, что трудится в “органах”. Не могу забыть до сих пор ту мгновенно образовавшуюся вокруг него незримую, но плотную полосу всеобщего брезгливого и опасливого отчуждения. Он и ушел довольно быстро, многозначительно сославшись на “дела”.

Нелегко им приходилось, я думаю. А в последние годы, глядя на некоторых принадлежащих моему поколению руководящих товарищей, я думаю об этом все чаще и чаще.

Мое поколение в общемировом масштабе — это поколение хунвэйбинов, первых хиппи и молодых западноевропейских бунтарей 1968-го года. В масштабах страны мое поколение тоже можно назвать поколением 1968-го года. Потому что именно в этом году, после разгрома Пражской весны, мое поколение, значительная часть которого была склонна обольщаться “социализмом с человеческим лицом”, самым драматичным образом раскололось. На тех, кого чуть позже назвали диссидентами, и на тех, кого

еще позже назвали совками. Идейные последствия этого раскола, увы, актуальны и по сей день.

Любить или не любить свое собственное (как и любое другое) поколение глупо и непродуктивно. Но если выбирать между тем и этим, то полезнее, мне кажется, его не любить. Вот и я не очень-то люблю свое поколение. Не то чтобы как-то сознательно, а скорее интуитивно. Во всяком случае, получилось так, что в юные годы большинство моих друзей были существенно старше меня, а в зрелые годы — моложе. И теперь среди моих друзей если и есть ровесники, то их единицы.

Недоверие к собственному поколению и к его коллективным признакам — это здоровая реакция на соблазн слиться в экстазе с очередным фетишем. От собственного поколения не уйдешь. Но чем раньше ты вырастешь из него, тем с меньшей вероятностью ты произведешь на свет какого-либо мировоззренческого мутанта наподобие “совка-диссидента”.

Вкусовые ощущения

Примат вкуса — вещь хорошая. Я и сам придерживаюсь его в большинстве случаев. Я тоже привык в своих высказываниях и поступках руководствоваться вкусовыми соображениями и, если угодно, эстетической интуицией, которой привык доверять.

Я часто слышу в последнее время, причем от людей умных, талантливых, тонких и совестливых, что именно соображения вкуса не позволяют им поддерживать нынешнюю российскую оппозицию и что все чаще и чаще они склоняются к известной формуле “Чума на оба ваши дома”.

Плохая оппозиция? Кислая и вялая? Налицо убийственный дефицит харизматических лидеров, серьезных нравственных авторитетов, да и просто ярких личностей? Они суетливы и бестолковы? Среди них много дурачков-идеалистов, с одной стороны, и продувных бестий, стремящихся погреть ручки у чужих печек, с другой? Они непоследовательны и с подозрительной легкостью меняют приоритеты? Они циничны и сами не очень-то верят в то, что говорят? Те из них, что смелы и отважны, как правило, истеричны и крикливы? Те, что поумнее, чрезмерно осторожны, чтобы не сказать трусоваты? Многие из них откровенно бездарны и безвкусны? У них нет позитивной программы, и они ничего не могут предложить взамен того, что есть?

Если не со всем, то со многим из этого я, увы, не могу не согласиться. Да, это в значительной степени так.

Впрочем, что ж тут удивительного: нынешняя российская оппозиция симметрична нынешней российской власти.

Во времена СССР водились такие личности, как Сахаров или Буковский, а теперь даже близко таких

нет? Так ведь и советская власть, особенно позднего периода, при всей своей запредельно подлой и бесчеловечной природе и при отъявленной стилистической ублюдочности выглядела куда респектабельнее, чем нынешняя. Она была драпирована хотя и сильно потертым, но все же богатым имперским плюшем из “раньшего времени”, облицована хотя и потрескавшимся, но все же некогда добротным метростроевским мрамором и обита хотя и сильно облупившимися, но все же полированными дубовыми панелями. Она выглядела дико и безвкусно, но при этом так, что было очевидно, что она рассчитана на века.

Нынешняя власть являет собой пространство, как будто бы обшитое пластиковой, китайского производства евровагонкой, поверх которой, как на детсадовском утреннике, красуется коряво вырезанная из фольги горделивая надпись: “Россия, вперед!” Пол у них покрыт сверкающим сортирным кафелем, а потолок настолько низок, что даже при своем невеликом росте они все никак не могут подняться с колен. Потому и значительная часть населения, охваченная тотальным евроремонтом, восприни-

мает это недоевропейское недогосударство как нечто очень близкое и понятное.

Какая тут может быть оппозиция? Хорошо еще, что такая, какая есть.

Примат вкуса — вещь хорошая. Проблема только в том, что вкус не у всех одинаков. Поэтому именно соображения вкуса не позволяют мне в унисон моим прекрасным собеседникам призвать чуму на оба дома. И не только они.

Во-первых, я уверен, что оппозиции просто не может не быть. Ибо оппозиция уравнивает социальный ландшафт. Оппозиция — особенно в социально отрегулированных обществах — это не столько “против”, сколько “напротив”. Критически настроенный собеседник необходим власти, если, разумеется, эта власть в принципе способна к диалогу. Какая бы она, оппозиция, ни была, она необходима. Без нее угасание общественной жизни просто неизбежно.

Борются не только против, но и за. За свободу, например. За личное достоинство. За права слабых и уязвимых. За городскую среду. За природу. И если государство устроено так, что само утверждение этих

базовых ценностей оно воспринимает как борьбу против него, то кто ж в этом виноват. Так помимо собственной воли и попадают в “оппозицию”.

И почему это вдруг гражданин должен быть озабочен тем, чтобы власть чувствовала себя предельно комфортно? Не только право, но и обязанность гражданина — следить за руками государства. Это не он должен заботиться о комфорте и покое государства, а государство обязано печется о его комфорте, здоровье и безопасности.

Отсутствие оппозиции не может радовать социально вменяемого человека. Это не признак успешности режима. Это признак его слабости и нежизнеспособности.

Да, дураков много и там и тут. Но я упорно продолжаю полагать не только неприличным, но именно что безвкусным с академической невозмутимостью обсуждать достоинства, недостатки и интеллектуальный уровень того, кого в данный момент на моих глазах мутузят четверо. Сначала надо все-таки за него заступиться. Все остальное потом.

Я часто вспоминаю, как в середине 1970-х годов в одной компании горячо обсуждали свежее, взвол-

новавшее всех событие: один общий знакомый, переводчик и правозащитник, был убит неизвестными в подъезде собственного дома. В разгар бурного и по понятным причинам довольно взвинченного разговора один из присутствовавших — тоже, что важно, переводчик — неожиданно сказал: “А переводчик-то он был так себе”. Весьма уместное в данном контексте замечание, не правда ли?

Российская оппозиция, каковой бы она ни была, на сегодняшний день находится в лежачем положении. А не бить лежачего я научился еще в детстве. Во дворе. А кто-то другой, может быть, в том же самом дворе, научился лежачего именно что бить. Бить чем попало. Ну а если не бить, то хотя бы, стоя в сторонке и потирая ручки, приговаривать: “Так его! Еще! Еще!” И эти самые “кто-то” сейчас у руля. А другие такие же любители подкидывать сучки и веточки в веселый костерок аутодафе составляют их надежную социальную базу. Все, увы, довольно просто.

В риторике многочисленных “лоялистов” хорошим тоном считается квалифицировать оппозицию и сочувствующих ей как “маргиналов”. Вот

уж кого-кого, а меня этим, мягко говоря, не отпугнешь. Я всегда ощущал себя именно маргиналом — если не с гордостью, то по крайней мере безо всякого душевного дискомфорта. Примыкать к силе, к большинству, к социальному или культурному мейнстриму для меня всегда было, что называется, запаadlo. Я всегда и абсолютно сознательно был на стороне творческого меньшинства. И не произошло пока ничего такого уж значительного, что поколебало бы эту мою убежденность.

Уповать на изначальную правоту “большинства” — дело не только глупое, но и ненадежное. В психиатрической лечебнице, например, большинство составляют известно кто. И слава богу, что они там не одни. Что есть там еще и “маргинальное” меньшинство, состоящее из врачей, медсестер, поваров, сторожей, бухгалтеров и всех прочих, кто обеспечивает жизнеспособность, осмысленность и хотя бы относительный порядок функционирования этого печального заведения.

На тему “маргиналов” и “мейнстрима” замечательно, на мой взгляд, высказался однажды, хотя и по несколько другому поводу, Виктор Шкловский:

“И нужно не лезть в большую литературу, потому что большая литература окажется там, где мы будем спокойно стоять и настаивать, что это место самое важное”. Все правильно: именно спокойно стоять и именно настаивать. И именно самое важное.

Увянувшее поле

Славную лицейскую годовщину я и мои друзья праздновали всегда. Это одна из немногих отечественных дат, не вполне заляпанных официозом.

Когда-то, еще в советские годы, мы с друзьями в один из официальных советских праздников сидели за столом и обсуждали интересную тему — тему альтернативных праздников. Какие могли бы стать общенародными, если бы страна каким-то непостижимым образом стала свободной.

Вариантов, увы, было не слишком много. Собственно, три.

Кто-то предложил 5 марта. Кстати, эта дата и была долгие годы праздником для тех, кто вернулся из сталинских лагерей, для их родных и друзей. Мой приятель и сверстник, который, как и я, хорошо запомнил этот день 1953 года, рассказывал, как под дружный горестный вой соседок по коммуналке он случайно открыл дверь в одну из комнат. Эту сцену он ярко и отчетливо помнит до сих пор во всех деталях. Две сестры-старушки, жившие в этой комнате, в абсолютной тишине и в гробовом молчании, но со счастливыми лицами кружились в вальсе.

Сколько-то лет спустя, когда языки немного развязались, он узнал, что эти старушки были дворянки, что их мужа сгинули в ГУЛАГе, что у одной сын погиб на войне, а сын другой отбывал ссылку в Магадане.

Я, помнится, предложил 19 февраля, день отмены крепостного права. Почему это предложил именно я, отчасти понятно: был в этом и неявный личный интерес, потому что это еще и день моего рождения.

Эту дату в качестве общенародного праздника я бы предложил и теперь. Но теперь эта идея, мягко говоря, не актуальна. Чем дольше мы живем, тем очевиднее, что никуда оно, крепостное право, не дева-

лось. Что оно живет и побеждает, принимая лишь разные формы и обличия, соответствующие информационной и технологической ситуации текущего момента.

Помните, у Чехова?

ФИРС. Перед несчастьем тоже было: и сова кричала, и самовар гудел бесперечь.

ГАЕВ. Перед каким несчастьем?

ФИРС. Перед волей.

Очень многое, казалось бы, с тех пор изменилось. И Фирс давно уже почил тихой смертью, запертый в пустой барской усадьбе. А отношение к воле как к несчастью воспроизводится во всей неприкосновенности многими и многими поколениями фирсов. Какое уж там 19 февраля, если “дерьмократы-прихватизаторы ограбили народ в лихие 1990-е”. Вот настоящий барин придет, он им всем покажет.

Ну и 19 октября, разумеется. День рождения первого непоротого поколения, так и не нашедшего своего применения в стране, где есть счастье, но нет покоя и воли.

Есть неизбежное счастье в пароксизме холопского патриотизма прислониться к силе, к власти, к царю, к барину, к пахану, к дрезденскому подполковнику — к чему и кому угодно, воображая себя придворными, но будучи при этом самой что ни на есть дворней.

Покоя нет, он нам только снится. Да и то не всем и не всегда. А воля — это “несчастье”.

Их было немного, тех, к кому обращался в своем посвящении самый прославленный из лицеистов. Но много и не надо. Важно, чтобы всегда были те, кто ощущал бы себя гражданином своего отечества, которое и будет существовать лишь до тех пор, пока будут существовать его граждане. А отечество нам, как было сказано, Царское Село.

ЛЕВ РУБИНШТЕЙН
ЗНАКИ ВНИМАНИЯ

Главный редактор ВАРВАРА ГОРНОСТАЕВА

Художник АНДРЕЙ БОНДАРЕНКО

Редактор ЕВГЕНИЙ КОГАН

Ответственный за выпуск МАРИЯ КОСОВА

Технический редактор ТАТЬЯНА ТИМОШИНА

Корректор ЕКАТЕРИНА КОМАРОВА

Верстка АНДРЕЙ КОНДАКОВ

ООО "Издательство Астрель",
обладатель товарного знака "Издательство Corpus"
129085, г. Москва, пр-д Ольминского, 3а

Подписано в печать 13.04.12. Формат 70×108 1/32
Бумага офсетная. Гарнитура *OriginalGaramond*
Печать офсетная. Усл. печ. л. 12,6
Тираж 3000 экз. Заказ № 3380/12.

Общероссийский классификатор продукции ОК-005-93, том 2; 953000 – книги, брошюры.

Охраняется законом РФ об авторском праве. Воспроизведение всей книги или любой ее части воспрещается без письменного разрешения издателя. Любые попытки нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке.

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО "ИПК Парето-Принт", г. Тверь, www.pareto-print.ru

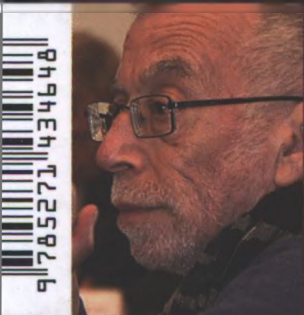
По вопросам оптовой покупки книг Издательской группы "АСТ" обращаться по адресу: г. Москва, Звездный бульвар, д. 21, 7-й этаж. Тел.: (495) 615 0101, 232 1716

Свои впечатления от окружающей жизни я привык сверять “по Рубинштейну”. Его короткие эссе обладают поразительным качеством: очень точно формулируют то, что ты чувствовал, но недопонимал или не мог выразить словами.

Григорий Чхартишвили

Ум без самомнения, порядочность без нотаций, естественные веселье и грусть, гражданские чувства без натуги, личное достоинство без заносчивости, а главное — бодрость духа, хотя под любым углом зрения дело швах.

Сергей Гандлевский



“Утром в газете — вечером в куплете” — эта формула давно устарела. Газеты и журналы печатают совсем не то, что хотелось бы читать. Самое важное сразу попадает в куплеты. Вернее, в колонки поэта, критика, публициста и одного из основоположников московского концептуализма Льва Рубинштейна. Его умные, едкие и всегда точные колонки цитируют в социальных сетях, их читают во время кухонных посиделок, на них ориентируются, когда не могут точно сформулировать собственный взгляд на происходящее вокруг.

